



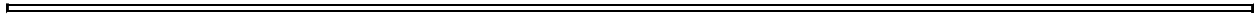
## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [В. И. Яковенко](#)
  - [ОТ АВТОРА](#)
  - [ГЛАВА I. ШЕВЧЕНКО – КРЕПОСТНОЙ \(1814–1838\)](#)
  - [ГЛАВА II. НА СВОБОДЕ: ПОЭТ И ХУДОЖНИК \(1838–1847\)](#)
  - [ГЛАВА III. В ССЫЛКЕ: ПОДНАДЗОРНЫЙ СОЛДАТ \(1847–1857\)](#)
  - [ГЛАВА IV. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ССЫЛКИ \(1857–1861\)](#)
  - [ГЛАВА V. ШЕВЧЕНКО КАК ПОЭТ И ХУДОЖНИК](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)



**В. И. Яковенко**

**Тарас Шевченко. Его жизнь и  
литературная деятельность**

*Биографический очерк В. И. Яковенко.  
С портретом Т. Г. Шевченко, гравированным в  
Петербурге К. Адтом.*

## ОТ АВТОРА

Сколь ни многочисленными кажутся материалы, собранные для биографии Шевченко, но при общей обработке их получаются большие пробелы. Целые периоды жизни поэта остаются иногда весьма слабо выясненными, а наряду с этим встречаются отдельные заметки, целые страницы, посвященные самым незначительным эпизодам. Материалы эти за немногими исключениями носят очевидно случайный характер. Никто не позаботился в свое время собрать все необходимое по заранее обдуманному плану. Конечно, вина падает преимущественно на ближайших друзей Шевченко. Но, увы, многие из них еще при жизни поэта, в годину тяжелых испытаний, выпавших на его долю, показали, какие они друзья... А нашлись и такие, которые уже после смерти его резко повернули свой фронт. Таким образом, одних не стало, другие изменили... И жизнь человека, о котором еще критик шестидесятых годов сказал, что рассказы о судьбе таких людей должны получать самую широкую известность, не может быть обрисована с надлежащей полнотой. Тем затруднительнее было положение автора настоящего биографического очерка. Всякий сжатый очерк, имеющий в виду характернейшие моменты в жизни человека, опирается обыкновенно на обстоятельное и детальное исследование, в котором только и возможна критическая оценка разнородного, случайного материала. Но по отношению к Шевченко, повторяю, такого именно исследования мы и не имеем до сих пор. Кроме того, мы наталкивались еще и на затруднения иного рода, едва ли, впрочем, интересные для скромного читателя. Ввиду всего этого автор не может всецело взять на себя ответственность за неполное или недостаточное освещение различных сторон жизни и деятельности нашего народного поэта. Мне остается еще заметить, что в большинстве случаев малорусские цитаты переведены на общелитературный язык, за исключением отрывков из стихотворений Шевченко и еще некоторых выдержек.

Вот главные источники, которыми автор пользовался при составлении предлагаемой биографии:

1. Т. Г. *Шевченко*. Автобиография (написана для журнала “Народное чтение”).

2. Т. Г. *Шевченко*. Дневник за 1857–1859 годы.

3. Т. Г. *Шевченко*. Письма (напечатанные) к Залескому, М. Лазаревскому, Я. Кухаренко, М. Щепкину, С. Артемовскому, А.

Казачковскому, Н. Осипову, Г. Тарновскому, С. Сираковскому, Маркевичу, П. Кулишу, Репниной, В. Шевченко и др.

4. *Т. Г. Шевченко*. Кобзарь.

5. *Т. Г. Шевченко*. Поэмы, повести и рассказы, писанные на русском языке.

6. Воспоминания о Т. Г. Шевченко А. Чужбинского, Н. Костомарова, С. Тургенева, М. Микешина, Н. Усковой и др.

7. Доклад шефа жандармов Орлова. – “Русский архив”, 1892.

8. *Н. Д. Н.* На Сырдарье у ротного командира.

9. *Н. Стороженко*. Первые четыре года ссылки Шевченко.

10. *Е. Гаршин*. Шевченко в ссылке.

11. *А. Родзевич*. Тарас Шевченко в Закаспийском крае.

12. *А. Лазаревский*. Материалы для биографии Т. Г. Шевченко.

13. *М. Чалый*. Жизнь и произведения Тараса Шевченко.

14. *Пискунов*. Шевченко, его жизнь и произведения.

15. *Г. Кулябка*. Т. Г. Шевченко.

16. *В. Маслов*. Т. Г. Шевченко. Биографический очерк.

17. *Н. Костомаров*. Литературное наследие.

18. *Н. Петров*. Очерки истории украинской литературы XIX столетия.

19. *А. Скабичевский*. История новейшей русской литературы.

20. *Н. Добролюбов*. Сочинения. Т. 3.

21. *А. Пытин*. Русские сочинения Шевченко. Статья в “Вестнике Европы”.

22. *В. Семеvский*. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века.

23. *Т-ый*. Шевченко в отзывах о нем иностранной печати.

24. Разные мелкие заметки, помещенные в “Киевской старине”.

## ГЛАВА I. ШЕВЧЕНКО – КРЕПОСТНОЙ (1814–1838)

*Семья: отец, дед. – Раннее детство. – Мачеха. – Истязания. – Обучение грамоте и новые истязания. – “Школяр-попыхач”. – В поисках за учителем-маляром. – Неожиданная перемена: поваренок, а затем комнатный казачок. – Призвание одерживает первую победу. – Шевченко обучается малярному искусству и живописи. – Первая любовь.– В Петербурге. – Знакомство с Сошенко. – Юноша знакомится с представителями просвещенного общества. – Работа над собственным образованием. – Ужасающая дисгармония. – Вторая победа призвания. – Свобода*

Это было в самом конце царствования Александра Павловича, а может быть и в первые дни вступления на престол императора Николая I. Событие, о котором я хочу напомнить, происходило в деревне Кириловке Звенигородского уезда. Впрочем, какое же это событие? О нем знали только кириловцы. Это не событие, а обыденная “мелочь жизни” или, скорее, “мелочь смерти”. Так казалось, но не так оно оказалось. В одной бедной, старой, белой хате с потемневшей соломенной крышей и черным дымарем<sup>[1]</sup> умирал старый Шевченко. Покорно несший свою долю крепостной “хлебороб” так и умер бы не замеченный ни современниками, ни потомством, если бы босоногий мальчуган, тут же всхлипывающий подле смертного одра, не стал знаменитостью. Тогда вспомнили о знаменательных, пророческих словах, сказанных отцом по адресу необыкновенного сына. Умиравший Шевченко оставлял детей круглыми сиротами и притом на руках не любящей их мачехи; нужно было заблаговременно поделить между ними разное добро. И вот, когда очередь дошла до сына Тараса, он сказал: “Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно; он не будет каким-нибудь человеком: из него выйдет или что-нибудь очень хорошее, или большой негодяй; для него мое наследство или ничего не будет значить, или ничем не поможет”. Тарасу было тогда всего лишь 11 лет, но пронзительный глаз отца видел в нем что-то необычайное. Чтобы видеть действительность, чтобы провидеть истинное дарование, нужно было иметь самому не “какой-нибудь” глаз; резкий же переход от “очень хорошего” до “большого негодяя” совершенно естественен в устах человека, прекрасно понимавшего, до чего может дойти всякий даровитый

юноша в положении крепостного. В семье Шевченко была еще одна замечательная личность: столетний дед, современник гайдаматчины, лично знавший главных деятелей этой кровавой народной расправы; и у этого деда “слово за словом сміялось, лилось”, а “столитніі очи, як зори, сіяли”, когда он по просьбе Тарасова отца начинал рассказывать про дела минувших дней. Слово “лилось, сміялось”, а собравшиеся в хате соседи немели от страха и жалости; “и мени, малому (говорит про себя Тарас), не раз довелось за тытаря плакать; и никто не бачыв, що мала дытына у куточку плаче”. Дед умер в сороковых годах, 115-ти лет; следовательно, Тарас успел взять у него все, что только тот мог дать, и он в “Гайдамаках” добром поминает своего старого деда:

Спасыби, дидусю, що ты заховав  
В голови столитній ту славу казачу:  
Я іи онукам теперь розказав.

Об отце кобзаря<sup>[2]</sup> мы знаем, что он был человек грамотный, любил читать, охотно пересказывал жития святых и разных подвижников благочестия: для своей среды это был довольно начитанный человек. Но, к сожалению, этим ограничиваются все наши сведения о двух личностях, в которых, по-видимому, уже мерцало великое дарование Тараса. Ведь и украинский кобзарь делал, собственно, то же, что и его дед: слово у него также “лилось и сміалось”, только аудитория, слушавшая его, была уже неизмеримо более обширная... Сам поэт не оставил воспоминаний об отце и деде; а первые собиратели материалов для его биографии не потрудились тотчас же выяснить все о тех семейных условиях и тех личностях, которые окружали поэта с колыбели. Впоследствии было уже невозможно восстановить то, о чем все позабыли. Матери Тарас лишился еще раньше, чем отца; этим обстоятельством, вероятно, и объясняется тот странный на первый взгляд факт, что о ней сам поэт нигде не вспоминает, даже в своих явно субъективных повестях и стихотворениях, хотя он и питал, как увидим в своем месте, большую привязанность к своим родным. Собиратели же материалов совсем умалчивают о его матери. По наблюдениям врача Талько-Грынцевича в роду Шевченко выделяются два особых антропологических типа. “Один из них представляет смуглое лицо, темные глаза и волосы, небольшой рост и крепкое телосложение; у другого, напротив, тело белое, волосы темно-русые, но глаза ясно-голубые, рост высокий, телосложение более умеренное”. “По собранным мною



сведениям, – продолжает г-н Талько-Грынцевич, – а во многом я мог убедиться лично, в роде Шевченко явно выступает наследственность с невропатическими влияниями: случаи мозговых болезней в детстве, у значительного числа членов семейства болезнь рефракции, дальновзоркость с расходящимся косоглазием, значительное расстройство, при плохом питании, хрусталика к образованию его помутнения в раннем детстве”. Эти замечания врача относятся, собственно, к последующим поколениям, но глазами, например, страдала уже одна из сестер Тараса; неустойчивость нервной системы наблюдается до известной степени и у самого поэта. Вообще же Шевченко был человеком плотным, среднего роста, крепкого, почти железного здоровья.

Родители Шевченко как крепостные крестьяне принадлежали помещику Энгельгардту; этим положением определялась, конечно, и вся будущая судьба их детей. Человек, рожденный крепостным, мог быть живописцем, музыкантом, поэтом, мог быть кем угодно, но тем не менее он оставался крепостным своего господина; и чем даровитее он был, тем горше, невыносимее оказывалась его жизнь. Чтобы выбиться из такого положения, нужно было обладать не только недюжинными дарованиями, но и железной силой воли и еще, как говорится, родиться в сорочке, то есть нужны были особенно благоприятные обстоятельства. Правда, один из родственников поэта и близкий к нему человек, Варфоломей Шевченко, выкупился на волю еще в молодости, но при этом ему пришлось продать все свое имущество дочиста и остаться “убогим, как Лазарь”; как человек даровитый он выбрался и из этой второй беды – нищеты – и по своему уму и развитию значительно возвысился над рядовым крестьянством. Григорий же Шевченко, отец поэта, оставил своим детям очень жалкое имущество; материальных средств для выкупа у них не было ровно никаких, и только у одного Тараса душа горела тем особенным огнем, который должен был или вырваться на волю, или натворить великих бед в неволе.

Итак, положение крепостных – вот что, по-видимому, сулила судьба всем членам семьи Григория Шевченко. Самое большее – он мог еще обучить своих детей грамоте и ремеслам; сам он занимался колодейством (колесничеством), а дед был швецом (сапожником), откуда и произошла фамилия Шевченко. Честный отец исполнил свой долг, и, тем не менее, будущая жизнь детей вырисовывалась в очень сумрачных красках. Но едва ли дети заглядывали далеко в будущее. Первым ударом, сделавшим их детскую жизнь невыносимо тяжелой, была смерть родной матери. На руках отца остались дочери Катерина, Ирина, Мария и сыновья Никита, Тарас и Осип, из которых Тарасу, родившемуся в 1814 году, было в ту пору около

девяти лет.

Поэт родился в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии, но рос в селе Кирилловке того же уезда, которое и считал всегда своей родиной. Что до появления в доме мачехи жизнь маленького Тараса была довольно красна, об этом свидетельствуют воспоминания поэта в повести “Княгиня”, имеющие несомненно автобиографический характер. Вот в каких светлых красках рисует он картину своего раннего детства:

“...И вот стоит предо мною наша бедная, старая, белая хата с потемневшей соломенной крышею и черным дымарем, а около хаты, на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки; у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит клуныя,<sup>[3]</sup> окруженная стогами жита, пшеницы и всякого хлеба; а за клунею по косогору пойдет уже сад, да какой сад!.. А за садом левада,<sup>[4]</sup> за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручеек, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными, темно-зелеными лопухами; а в этом ручейке, под нависшими лопухами, купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушею или яблонею и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, смотрит и спрашивает сам у себя: “А что же там, за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если б пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это не далеко”. Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду, прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел царину,<sup>[5]</sup> прошел с полверсты поле; на поле стоит высокая черная могила; он вскарабкался на могилу, чтоб с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов. Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село; и там из темных садов выглядывает трехглавая церковь, белым железом крытая, и там тоже выглядывает церковь из темных садов, и тоже белым железом крытая. Мальчуган задумался. Нет, думает он, сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с

Катрею. И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село... На дворе уже смеркало, когда я (потому что кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему перелазу;<sup>[6]</sup> смотрю через перелаз на двор, а там около хаты на темном, зеленом бархатном шпорише все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает, на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелазы, то она вскрикнула: “Прійшов, прійшов!”– и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: “Сидай вечерять, преблудо!” Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаясь, назвала меня опять приبلудою...”

Но скоро этому “кубическому мальчику” пришлось оставить мечты о железных столбах, поддерживающих небо, и заботиться больше о том, как бы увернуться от обильно посыпавшихся на него розог. Розга появилась вместе с мачехой. Отец Тараса не мог долго оставаться вдовцом со своей многочисленной семьей, причем самому меньшему ребенку было всего только полтора года; необходимость заставляла его взять в дом хозяйку и притом не быть особенно разборчивым, у женщины, на которой женился вторично Григорий Шевченко, были свои дети; они также вошли в его семью, и между сводными братьями и сестрами завязалась тотчас же глухая борьба. “Не проходило часа без слез и драки между нами, детьми, – вспоминает поэт, – и не проходило часу без ссоры и брани между отцом и мачехой”. Особенно доставалось от последней Тарасу, который “часто тузил ее тщедушного Степанка”. Эти раздоры заронили в его душу неизгладимое чувство озлобления против случайных пришельцев в его родную семью, а также против родного дяди Павла, нередко учинявшего расправу по просьбе мачехи; а с другой стороны, они сблизили гонимых детей; на этой почве выросла, например, глубокая привязанность поэта к своей сестре Ирине да и вообще ко всем сестрам и братьям, о которых он заботился до конца дней своих.

Один эпизод кровавой расправы особенно засел в детских головках; его рассказывала эта самая Ирина уже после смерти поэта. Как-то раз у солдата, стоявшего у них на квартире, пропало три золотых. Солдат поднял

целую бурю; стали искать деньги. Мачеха, не долго думая, указала на Тараса как на виновника пропажи. Принялись за мальчика. Тот божился и клялся в своей невинности; но мачеха одно твердила: “Деньги украл Тарас”. Предчувствуя, что этим дело не кончится, Тарас убежал и спрятался на заброшенном огороде. Он просидел там четверо суток: устроил себе шалаш в кустах калины, расчистил площадку, усыпал ее песком, развлекался стрельбой из бузиновой пукалки<sup>[7]</sup> в мишень и так далее. Сестра Ирина носила ему тайком еду и утешала его в одиночестве. На пятый день дети мачехи открыли убежище беглеца. Его схватили и привели на допрос, и на этот раз дознание было ведено уже по всем правилам. Так как виновный не сознавался, его начали пытать, причем главным заправилой и палачом выступил “велький катюга” дядя Павло. Три дня с небольшими перерывами он сѣк мальчика; наконец последний не выдержал и, чтобы прекратить мучения, сказал, что действительно он украл деньги. Тогда его развязали и потребовали, чтобы он указал место, где они спрятаны. Но что мог ответить на этот вопрос ни в чем не повинный мальчик? Пытка и истязание возобновились, но безрезультатно. Бедный Тарас был брошен чуть не замертво. Претензию солдата удовлетворили, продавши юбку покойной матери. И только впоследствии обнаружилось, что деньги украл сын мачехи Степан и спрятал их в дупле старой вербы. Отца, по-видимому, не было дома во время этих истязаний. Едва ли бы он допустил их. По крайней мере, мы видим, что вскоре после этого печального события он отослал Тараса учиться грамоте к мещанину Губскому. Любопытно, что хотя грамота далась мальчику скоро, но он успел перебивать у нескольких учителей и повсюду розги изрядно сыпались на него. Живой и чуткий ребенок не выносил несправедливости и животного обращения, самовольно бросал учителя, а при случае учинял даже над ним расправу и отправлялся искать себе другого.

В этих первых шагах по пути к грамотности сказались уже характерные человеческие особенности будущего украинского кобзаря. Он идет своим собственным путем и не знает никаких проторенных дорожек; ему неведом тот особенный страх, который приковывает человека ко всему рутинному и заставляет содрогаться при одной мысли отступить от завещанного отцами и дедами образа жизни и мысли. Словно какой-то инстинкт подсказывал ему, что каковы бы ни были неудачи и трудности пути, он не должен смущаться и не должен малодушно взваливать всю ответственность на внешние обстоятельства. Действительно, присмотритесь внимательно к первым шагам этого крепостного оборванца и вы убедитесь, что у него была своя путеводная звезда, что его душа

бессознательно устремлялась к ней.

Со смертью отца Тарасу, теперь уже круглому сироте, пришлось возвратиться домой; нелюбящая мачеха заставила его пасти телят и свиней. Так прошло время до зимы. Зимой же, дабы сбыть с рук задорного мальчика, его снова отдали в школу к сельскому дьячку Бугорскому. Тут он, вместе с другими учениками, подвергся правильной, регламентированной секуции. “По субботам, – рассказывал поэт, – перед роспуском по домам, всех нас – и правых, и виноватых – секли, причитывая четвертую заповедь. Обязанность эту исполнял консул, т. е. старший в классе. Я никогда не ходил в отпуск, но когда сделан был консулом, то зажил отлично: все мне приносили из дому гостинцы, чтобы не больно сек, и скоро я обратился в страшного взяточника. Кто приносил мне довольно, тому давал не более одной или двух легких розог, в течение которых успевал скороговоркой прочитывать обычную заповедь; но кто приносил мало или ничего не приносил, над тем я с чувством и расстановкой произносил: “Помни... день... субботний... и т. д.”. В повести “Княгиня”, вспоминая об этих же секуциях, Шевченко говорит: “Ну, это бы еще ничего, пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение; а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет, бывало, а самому лежать велит, да не кричать и, *не борзяся*, явственно самому читать четвертую заповедь... Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною, велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко...” У этого жестокого дьячка Тарас закончил свое образование, выучил часловец и Псалтырь, а священник научил его писать. Тогда он остался при школе в качестве “школяра-попыхача”. Нередко ему со своим учителем приходилось голодать по несколько дней кряду; только одни покойники выручали; если же таковых долго не оказывалось, то они брали “торбу” и “сосуд скудельный” (“мы и жидкостями не пренебрегали, как то: грушевым квасом и проч.”) и отправлялись под окна воспевать “Богом избранную”. Все заработанное чтением Псалтыря над покойниками поступало в пользу дьячка, и тот уже от щедрот своих уделял Тарасу пятак-другой на бублики. “Ходил я, – вспоминает он в “Княгине”, – постоянно в серенькой дырявой свитке<sup>[8]</sup> и в вечно грязной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимой; однажды дал мне какой-то мужик за прочтение Псалтыря на прищвы ремню, да и тот от меня учитель отобрал как свою собственность”.

Бесконечные порки и лишения, лишения и порки ожесточили вконец сердце босоногого подростка, и он покончил свои отношения с дьячком

так, “как вообще оканчивают выведенные из терпения люди, – мстью и бегством”. “Найдя его однажды бесчувственно пьяным, – рассказывает поэт в своей “Автобиографии”,– я употребил против него собственное его оружие – розги – и, насколько хватило детских сил, оплатил ему за все его жестокости”.

Здесь же, в школе Бугорского, пробудилась у Тараса страсть к рисованию. Когда ему становилось неважно от пороков, он обыкновенно убегал и по нескольку дней скрывался в садах, причем запасался бумагой, а при случае не прочь был стащить у дьячка и пятак; из бумаги он делал маленькую книжечку и тотчас же принимался обводить ее крестами и “визерунками с квитками” или списывать Сквороду. Так и на этот раз. Отомстив своему мучителю, он похитил у него книжечку с кунштыками<sup>[9]</sup> и бежал в село Лысянку к маляру-дьякону. Но через четыре дня он снова бежит, уже в Стеблов (Каневского уезда), а оттуда в Тарасовку к дьячку “хиромантику”, который, посмотревши на его левую руку, признал его ни к чему не годным, “ни даже к шевству, ни к бондарству”. Этими шатаниями и скитаниями, даже своею внешностью – он перестал стричься и сшил себе шапку вроде конфедератки – Тарас обращал на себя внимание своих односельчан. Но похождения его кончились неудачей, и он должен был возвратиться домой.

“У меня была в виду, – говорит он, – скромная участь, которой мое воображение придавало, однако же, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, “пастырем стад непорочных”. Старший брат Никита пробовал приучить его к земледельческому труду. Но ни “пастырство”, ни “хлеборобство” не улыбалось будущему певцу Украины. Его волновали непонятные для детского ума желания и стремления к простору жизни, к свободе, и он бросал волов в поле и уходил бродить и мечтать о малярстве. Наконец он еще раз решил попытаться счастья и отправился в село Хлебновку, славившееся своими малярами. На этот раз один маляр признал в нем незаурядные способности и согласился взять его к себе; но Тарас был крепостным, у него не было никакого разрешения от помещика, не было и паспорта; поэтому маляр, боясь ответственности за укрывательство крепостного мальчика, отправил его к управляющему имениями Энгельгардта в Вильшану, чтобы он добыл себе прежде всего необходимое разрешение.

Судьба, однако, решила иначе. Вместо разрешения заниматься вольным художеством Тарасу было велено остаться в Вильшане, и он попал в штат дворовой челяди, как раз в это время набиравшейся по приказанию молодого помещика. Пятнадцатилетний юноша, обращавший на себя

внимание умным выражением лица и своею бойкостью, мог, несомненно, пригодиться для удовлетворения многочисленных потребностей пана, жившего на широкую ногу. Из него можно будет выдрессировать доброго лакея – так решил управляющий.

С этого момента для Тараса наступила новая жизнь. Раньше, хотя он и рожден был в крепостничестве, ему как ребенку приходилось страдать больше от нищеты и свирепой жестокости своей же среды, чем от произвола своего господина. Горькое сознание полной нищеты он убаюкивал мечтами о лучшем будущем да песнею, а на дикую расправу мачехи и своих учителей отвечал бегством. Нежная, мягкая природа Украины ласкала ребенка, а “могилы” навевали воспоминания о временах былой казацкой славы. Природа, песни и рассказы о далеком прошлом, наконец, какое-то тайное, непонятное и необъяснимое предчувствие, надежда даровитой натуры на лучшее будущее – все это смягчало горечь настоящего. Но теперь дыхание крепостничества обожгло его. Природа, песни, свободное скитальчество – теперь для него недоступное блаженство. Лакейская – вот мир, в котором он должен жить; прихоти самодура-помещика – вот тот бич, который будет вечно над ним висеть и который во сто крат хуже порок свирепого дьячка Бугорского.

Однако Тарас не сразу попал в лакейскую. Управляющий, набрав около дюжины мальчиков, прежде чем отправить их к помещику в Вильно, произвел испытание, дабы выяснить, к чему каждый из них более всего способен.

Тараса приставили сначала к повару: он чистил кастрюли, носил на кухню дрова, выносил помой и так далее. Это было еще менее привлекательное занятие, чем “пастырство” или чтение Псалтыря по покойникам. Влечение к рисованию оставалось совершенно неудовлетворенным; а между тем оно не давало юноше покоя. У захожего коробейника на всякий попавший к нему случайно грош он покупал произведение суздальской кисти, воровал картинки и со всем этим добром прятался в каком-нибудь глухом углу сада, где, развесив свои картины, принимался копировать их, напевая песни. Конечно, эти самовольные отлучки не проходили для него даром, и он нередко терпел побои от ментора-повара.

Наконец настало время отправлять набранную челядь в Вильно. От внимания управляющего не ускользнула страсть Тараса к рисованию, и он отметил его “годным на комнатного живописца”. Но помещик решил иначе: он нарядил его казачком и посадил в передней, “вменяя мне, – говорит поэт, – в обязанность только молчание и неподвижность в углу передней. Но по

врожденной мне продерзости я нарушал барский приказ, напевая чуть слышным голосом унылые гайдамацкие песни и срисовывая украдкой картины суздальской живописи. Барин мой был человек деятельный; он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собой в обозе меня для сидения в передней, подавания шубы и т. п. надобности”.

Этот период жизни Шевченко до встречи его в Петербурге с Сошенко менее всего известен, а между тем можно сказать, что именно в это время бесповоротно решалась его судьба. Пастух, школяр-попыхач, чтец по покойникам, поваренок, комнатный казачок, – нет, все это не то. Он должен быть маляром, живописцем, художником. Поэтическое дарование тогда еще дремало. Страсть же к рисованию совершенно овладела им. Она, а не положение в качестве комнатного казачка, как думают некоторые биографы, – то благодеяние, которое он получил из рук самой природы и которое спасло его. Она вела его к великой цели, расчищала путь другому, более могучему дарованию, и господа Энгельгардты и прочие должны были так или иначе ретироваться. Однажды, в конце 1829 года (дело происходило в Вильно или Варшаве), Энгельгардт с семейством отправился на бал, а наш казачок, дождавшись той поры, когда все в доме заснуло, забрался в пустую комнату, зажег свечку и, разложив свои картины, принялся за рисование. Он и не заметил, как время пролетело. Вдруг растворяется дверь и оторопевший казачок видит перед собой разъяренного барина, который бросается на него, “немилосердно рвет его за уши и дает несколько пощечин, внушая неосторожному художнику, что, сидя с зажженной свечой среди бумаг, он мог бы сжечь не только дом, но и весь город”. На следующий день кучер Сидорка “выпорол его с достодолжным усердием”. Но помещик, по-видимому, убедился, что из Тараса не выйдет путного казачка, и в своих собственных интересах решил сделать из него комнатного живописца.

Этот момент, как я говорил выше, весьма важен в жизни Шевченко. Так или иначе, он выступал на дорогу своего призвания. На каждом человеке лежит обязанность определить себе то дело, которое он станет делать, и то место, которое он займет среди общества. Человек фальшивый, неискренний рядится обыкновенно в чужие наряды, выдает себя за того, кем не является, – одним словом, представляет ворону в павлиньих перьях, а мир таких же фальшивых людей, как он сам, если не действительно считает, то делает вид, что считает его за настоящего павлина. Для искреннего же человека отвратительна и ненавистна, прежде всего, всякая такая фальшь, всякое переодевание, всякое старание *казаться* чем бы то ни



было. Он прямо смотрит в глаза действительности и поступает согласно своему разумению. Если он при этом наделен той искрой Божьей, которая называется дарованием, талантом, гением, то он не будет знать покоя, пока не выйдет на свою дорогу. Безобразная нищета держала Шевченко в своих тисках с самого нежного возраста, но он, оборванный, босой, с обнаженной головой, утаивает гроши, ворует, чтобы насытить свою страсть к рисованию; его секут и секут, а он все-таки рисует. Поистине тяжкими и жестокими испытаниями он завоевал себе право на такое деликатное занятие, как рисование. У нас много призванных художников, но многие ли из них действительно *призванные* к этому делу, многие ли оправдали свое призвание такими испытаниями и борьбой, какие выпали на долю украинского поэта? А между тем из Шевченко не вышел первоклассный художник. Что же, он растерял свои силы в неравной борьбе?

Нет. Люди, верующие в Провидение, сказали бы, что оно вело обездоленного сына народа своими мудрыми путями: крепостной мальчик, почти нищий, не мог вступить в борьбу с окружающей его людской неправдой на почве *песни*, своей настоящей стихии; первое же проявление его скорбной музыки было бы вместе с тем и последним: господину Энгельгардту таких песен вовсе не нужно было; он заставил бы умолкнуть народившееся дарование; сделаться же панским поэтом, своего рода маленьким лауреатом, Шевченко не мог; для этого у него не было ровно никаких задатков. Другое дело – рисование; паны любили украшать свои комнаты картинами, копиями с известных произведений искусства, портретами собственных особ, своих присных и так далее. Рисование было или, по крайней мере, могло быть до поры до времени нейтральной почвой. Нужно было только доказать пану, что из его “хлопа” ничего, кроме художника, не выйдет; и если этот пан был не совсем лишен разума, он сдавался, принимал в расчет собственные интересы и давал возможность своему “хлопу” сделаться крепостным художником. Так случилось и с Шевченко: он поборол одного своего врага, вышел на дорогу своего призвания. Но другой враг, не менее страшный, в образе крепостничества, загораживал еще дорогу к свободному развитию, к свободному вдохновению, к свободной жизни.

Шевченко было 16 лет, когда его отдали в науку к какому-то комнатному живописцу, по указанию одних биографов – в Вильно, а по указанию других – в Варшаве. Здесь его научили расписывать потолки, стены, заборы и т. п. На этот раз ему попался, по-видимому, добросовестный учитель, который скоро убедился, что его ученик обладает выходящим из ряда дарованием и что ему надлежит быть не простым

маляром. Он высказал свое мнение Энгельгардту и посоветовал ему поместить юношу к известному варшавскому портретисту Лампи. Какими мотивами руководствовался Энгельгардт, мы не знаем, но в это время он, несомненно, уже понимал, что его живой капитал в образе Тараса Шевченко будет нарастать, точно проценты на проценты, от дальнейшего учения последнего. Тараса приодели, и он стал посещать мастерскую и работать под руководством настоящего художника.

Около двух лет прошло в таких занятиях. Что, собственно, делал Шевченко, какие успехи оказывал, мы не знаем. Но в это же время имело место весьма важное для его внутренней жизни событие: он полюбил в первый раз. Она была полька, швея, “с независимым образом мысли”, а он – “хохол”, крепак,<sup>[10]</sup> “хлоп”, со страстной, но порабощенной и пока еще не осознанной любовью к свободе. В то время Варшава как раз готовилась к восстанию, и мы легко можем себе представить, чем была воодушевлена девушка, понравившаяся юноше. Эта любовь разодрала завесу, скрывавшую от Шевченко весь ужас его бесправного положения. Хотя уже в детстве он с жадностью прислушивался к рассказам о гайдамаках, боровшихся за свою свободу, и напевал их скорбные песни, однако, забитый и загнанный, он жил, не обращая внимания на свое положение. Конечно, он был еще слишком молод. Любовь ускорила дело времени; она заставила его серьезнее взглянуть на свою жизнь, и как натура впечатлительная и правдивая он не мог не прийти в ужас и даже отчаяние. Первая чистая, возвышенная любовь пробуждает в душе всякого юноши самые лучшие порывы и стремления, на какие только он будет способен впоследствии. Она впервые приподымает покрывало со “святая святых” всей будущей жизни человека. Мы говорим о действительной любви, а не о любовном жаре, который горит обыкновенно нечистым пламенем. Для многих и юношеская любовь бывает только взрывом проснувшихся животных страстей; о таких можно смело сказать, что они и в жизни своей не пойдут дальше животных страстей, в лучшем случае смягченных культурой и образованием. И вот любовь открыла Шевченко, что не только он сам как рабочая сила принадлежит своему помещику, но что и его “святая святых” находится также в полном распоряжении этого последнего. “Я в первый раз пришел тогда к мысли, – вспоминает поэт, – отчего и нам, крепакам, не быть такими же людьми, как другие свободные сословия”.

К сожалению, мы располагаем очень скудными сведениями об этой первой любви поэта. Полька была, по-видимому, образованнее своего возлюбленного; уже одно то, что она была свободным человеком, давало ей преимущество. Она научила Тараса польскому языку, и тот, по крайней

мере впоследствии, свободно читал в подлиннике Мицкевича и “Эстетику” Либельта. У нас нет ровно никаких оснований думать, что Шевченко отказывался при этом от чего бы то ни было “в пользу шляхетской национальности”, как то утверждает г-н Петров. Это – поклеп. Мы, вероятно, будем недалеко от истины, если скажем, что Шевченко действительно отрекся, но от чего? От рабства в пользу свободы. И невозможность осуществить это отречение немедленно, на деле, доводила юношу до мысли о самоубийстве. Этим, по-видимому, и исчерпываются все глубокие последствия первой любви нашего поэта.

В 1832 году мы находим Шевченко уже в Петербурге, куда его препроводили вместе с другой прислугой Энгельгардта этапным порядком. Дорогой у него отвалилась подошва на одном сапоге, и он должен был, чтобы не отморозить ногу, переобувать целый сапог с одной ноги на другую. В Петербурге Энгельгардт отдал его на выучку живописных дел мастеру Ширяеву, “который соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьяка – хиромантика; но, несмотря на весь гнет тройственного его гения, я, – говорит поэт в своей “Автобиографии”, – в светлые осенние ночи бегал в Летний сад рисовать со статуй”. Как раньше настойчивое копирование рисунков, несмотря на все запреты и побои, вывело мальчика на дорогу его призвания, так и теперь упорные попытки проникнуть в храм искусства привели юношу к той желанной свободе, без которой немислимо было дальнейшее развитие его дарования.

У Шевченко не было, конечно, никаких знакомых в Петербурге, кроме дворовой челяди да таких же злополучных, как он сам, учеников и наемных рабочих мастера Ширяева. Но, посещая украдкой Летний сад, он случайно познакомился с земляком, в то время уже художником, Сошенко. Эта встреча, имевшая такие важные последствия для Шевченко, описывается биографами по-разному. Вероятнее всего, что дело происходило именно таким образом, как о нем говорит Шевченко: вскользь – в своей “Автобиографии” и затем подробно – в биографической повести “Художник”, где даже лица, принимавшие участие в его освобождении, названы собственными их именами.

Однажды ранним утром, когда Петербург еще спал, а Шевченко по своему обыкновению отправился тайком в Летний сад срисовывать статуи, на него случайно наткнулся Сошенко. Юноша сконфузился, увидев перед собою незнакомого человека, и поспешно спрятал за пазуху рисунок. Между ними произошел такой приблизительно разговор. “Что ты здесь делаешь?” – спросил Сошенко. “Я ничего не делаю, – отвечал застенчиво юноша, – иду на работу, да по дороге в сад зашел”; и, немного помолчав,

прибавил: “Я рисовал”. “Покажи, что ты рисовал”. Шевченко вынул из-за пазухи четвертку<sup>[11]</sup> серой писчей бумаги и робко подал художнику; на четвертке был намечен довольно верно контур Сатурна. Долго Сошенко держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора; в неправильном лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки. “Ты часто ходишь сюда рисовать?” – спросил наконец он. “Каждое воскресенье, – отвечал юноша, – а если близко где работаем, то и в будни захожу”. – “Ты учишься малярному мастерству?” – “И живописному”, – прибавил Тарас. Затем он поспешно взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую кисть и собрался идти. Сошенко пригласил его к себе. В первое же воскресенье робкий юноша воспользовался этим приглашением. Таким образом, первый лед был сломан, и Шевченко подхватило то течение русской общественной жизни, которое одно только могло по условиям того времени вынести его на простор свободы и прибить к берегу передовых людей. Всего этого он достиг помимо каких бы то ни было протекций и покровительств, – напротив, он упорно боролся с людьми и обстоятельствами. И он победил; правда, это была далеко еще не полная победа. Он доказал, что в нем действительно таится дарование. Дальнейший исход борьбы зависел теперь уже не от него одного, а и от тех людей, которые признали в нем “дар Божий”. Как отнесутся к нему эти люди и что сделают они, чтобы вспыхнувшая искра не потухла в беспросветном мраке нужды и равнодушия?

Сошенко, познакомившись ближе с жизнью юноши, был тронут до глубины души: все пережитое им было так непривлекательно, а будущее представлялось еще более сумрачным. Нужно спасти человека от неминуемой гибели, но как сделать это и что может сделать он, Сошенко, заурядный художник? Однако именно этому невидному, обыденному, серенькому человеку мы обязаны тем, что драгоценный украинский самородок не погиб в куче навоза. Сошенко обласкал его, как сына. Он водил его по картинным галереям, снабжал его необходимыми рисовальными принадлежностями, книгами, следил за его успехами и наставлял. Наконец, он познакомил его с малороссийским писателем Гребенкой, принявшим также теплое участие в судьбе многообещающего юноши и немало содействовавшим, по-видимому, расширению его литературного горизонта, с конференц-секретарем Академии художеств Григоровичем, которого убедительно просил помочь освободить юношу от невыносимого гнета маляра Ширяева, и со знаменитым художником Брюлловым; а через этих лиц Шевченко стал скоро известен придворному

живописцу Венецианову и Жуковскому. Последний, желая ближе ознакомиться с дарованием самоучки-маляра, попросил его однажды написать сочинение на тему: жизнь художника. До нас не дошло это юношеское произведение Шевченко, и мы не знаем, как отнесся к нему Жуковский; известно только, что вскоре после этого он стал усиленно хлопотать о выкупе поэта.

Итак, наша образованная общественность тридцатых годов встретила, как видим, радушно и участливо великое дарование, найденное случайно среди находящихся в кабале у Ширяева учеников-маляров. Как же воспользовался этот “найденный” улыбнувшейся наконец ему судьбою? Он не изменил себе, но еще с большею энергией принялся за свое самообразование. Все свободное время он проводил или за рисованием, или за чтением, или, наконец, в кругу людей, от которых мог почерпнуть для себя что-либо в образовательном смысле. Но много ли бывает свободного времени у наемного чернорабочего? Оставалось одно: урывать для досуга часы от сна. “Пробыв целый день на работе, взятой хозяином с подряда и состоявшей в покраске оконных рам, дверей, а иногда и заборов, ночью возвращаясь на чердак, Тарас постоянно читал, читал все, что ни попадалось ему под руку”. Он успевал, следовательно, делать зараз два дела: работать на хозяина и учиться, причем успехи его в учении изумляли его ближайшего друга и покровителя Сошенко. Как-то раз ему вздумалось, однако, отвлечься от столь усидчивого труда, и он тайком, не спросив позволения у хозяина, убежал с работы на петергофское гулянье. Но невиданное зрелище, о котором рассказывали ему такие чудеса, не произвело на него впечатления, и он, заметив в толпе своего хозяина, поторопился возвратиться назад.

По мере того, как разворачивались молодые силы под двойным влиянием чтения и просвещенного общества, и перед Тарасом все резче и заманчивее обрисовывался образ свободного человека и художника, положение его как подневольного ученика Ширяева и как крепака вообще становилось все невыносимее и невыносимее. Нам, людям, избегнувшим вовсе тлетворного влияния крепостного права, трудно даже представить себе, каким образом молодой человек, одаренный громадным талантом, вращающийся в лучшем обществе, вместе с тем продолжал оставаться крепостным такого-то помещика. Это значило, что он из рабочего кабинета художника Брюллова, из залы придворного живописца Венецианова или после беседы с гуманным Жуковским мог попасть по самому ничтожному капризу своего властелина прямо на конюшню, под розги экзекутора из своей же братии. Какая дикая фантазмагория, скажет теперь всякий! А

между тем именно это чуть-чуть не случилось с Шевченко. Отданный по контракту Ширяеву, он не имел вообще никаких сношений с дворней своего помещика; но когда Сошенко рисовал портрет с жены смотрителя помещичьего дома и некоторое время проживал в квартире последнего, Шевченко продолжал навещать своего друга и здесь. Естественно, что он сталкивался при этом с дворовыми людьми, и естественно, что он говорил с ними об их общем бесправном положении, и говорил “в вольном духе”. Те стали вторить ему, заявлять о своих человеческих правах. Все это дошло, конечно, до смотрителя и привело его в бешенство. Кучеру был отдан приказ приготовить на конюшне все необходимое для секуции и схватить смутителя, проповедника человеческих прав, как только он покажется во дворе. И едва только вошел Шевченко, на него накинулись и потащили на расправу. Не поспей вовремя на выручку Сошенко, художнику пришлось бы пережить одну из самых тяжелых минут, так как в эту пору в нем уже вполне пробудилось сознание собственного человеческого достоинства. Сошенко сначала сам умолял освободить его друга от столь унижительного наказания, а потом, когда убедился, что его просьбы не действуют, обратился к посредничеству молоденькой жены смотрителя; та успокоила расходившиеся страсти супруга, и Шевченко получил на этот раз помилование, но с тем, чтобы он не вел бесед и не виделся с дворовыми людьми. Нетрудно понять, в каком страшном, раздирающем душу противоречии находились подобные дикие выходки, одна их возможность, с мечтами Шевченко о свободе и со всем тем, что он видел и встречал в лучшем обществе. Его молодая душа была потрясена до глубины. Счастье еще, что положение его у Ширяева в качестве ученика спасало его от частого повторения подобных сцен, даже несколько отдаляло от крепостнической атмосферы вообще. И еще большее счастье, что он имел возможность хотя бы урывками совершенствоваться в рисовании. По совету Сошенко он стал рисовать портреты с натуры акварелью; его работу случайно увидел Энгельгардт, остался ею очень доволен и заставил рисовать портреты своих любовниц, за что иногда награждал своего неудавшегося казачка целым рублем. Но высшей утехой для Шевченко была посетившая его в это время муза. Вот что он пишет сам по этому поводу: “Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоянных дворах и городских квартирах. Но когда предчувствие свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенного под убогой батьковской стрехой, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне”. Первые литературные опыты Шевченко были написаны в том же

Летнем саду.

Таким образом, образованные и изысканные люди просвещали талантливую самоучку, поддерживали его словом, а при случае и деньгами и подавали надежды на лучшее будущее; а самоучка, не жалея сил, работал над собою. Он, казалось, говорил: “Я, как видите, оправдал себя, я, крепостной маляр, доказал вам, что достоин лучшей участи; теперь дело за вами: вы теперь должны и вы только можете открыть мне доступ к свободному развитию таланта; если вы не сделаете этого, то на вашей совести останется тяжелый грех: вы дали потухнуть, не разгоревшись, искре, вспыхнувшей в самом сердце народа”. В детстве он один, не сознавая того, вступил в бой с крепостным правом и неуклонно следовал своему влечению. Теперь ему помогали хорошие люди. Неужели он не победит? Прошло, однако, шесть мучительных и томительных лет, прежде чем эти хорошие люди сделали решительный шаг. Хотя Энгельгардт, убедившись в необычайных дарованиях своего крепостного, и сам не прочь был бы поместить его в Академию художеств, чтобы всегда иметь под рукой хорошего домашнего художника, но в то время доступ крепостным людям в Академию был уже закрыт. “Причиной тому была несчастная судьба многих крепостных художников, которые, получив образование в Академии и возвратясь к своим помещикам, не переносили их обращения с ними, оканчивая жизнь самоубийством: резались, вешались, топились”. Отпустить же Шевченко на волю Энгельгардт не хотел, это было не в его интересах. И юноша переживал снова такие же тяжелые минуты, как в Варшаве, под влиянием первой любви; но на этот раз гнев его обращался уже на помещика, и он, уходя от Сошенко домой, на свой грязный чердак, грозил страшной мстью своему поработителю.

Один случай, теперь вызывающий у нас смех, но едва было не погубивший строптивного художника, ускорил, по-видимому, развязку.<sup>[12]</sup> Какой-то генерал заказал Шевченко за 50 рублей свой портрет, но работа ему не понравилась, и он не принял ее. Раздосадованный художник, чтобы наказать скупого генерала, продал портрет, намалевав на нем намыленную бороду, для вывески цирюльнику, у которого генерал имел обыкновение стричься и бриться. Увидев свой портрет на таком необычайном месте, генерал пришел в бешенство, тотчас купил его и в порыве гнева обратился к Энгельгардту с просьбой продать ему крепостного художника. Злоба сделала его щедрым, и он предлагал Энгельгардту хорошие деньги. Тот готов был уже согласиться, и Шевченко, узнав, какая опасность угрожает ему, бросился к Брюллову и умолял спасти его. Брюллов в это время рисовал портрет Жуковского, который уже ранее предполагалось разыграть

в лотерею, чтобы на вырученные деньги выкупить поэта. Он поторопился окончить работу. В лотерею приняли участие лица императорской фамилии (что, вероятно, осадило несколько и злобного генерала, и корыстного помещика). Таким образом собраны были 10 тысяч рублей ассигнациями—сумма, предложенная Энгельгардту генералом; но, по словам самого Шевченко, он был выкуплен всего за 2500 рублей ассигнациями.

День 22 апреля 1838 года должен быть памятен всем почитателям южнорусского народного поэта: этот день стал днем его освобождения от крепостной зависимости, то есть, так сказать, днем второго рождения на свет Божий. В течение почти всех прожитых 24-х лет, за исключением первых годов детства, его преследовали безобразная нищета и лишения, дикое насилие и произвол мачехи, родных, учителей, помещика и, наконец, страшное отчаяние, что придется бесследно погибнуть в неравной борьбе, погибнуть даже от собственной руки, так как временами у юноши не хватало сил терпеть такое тяжкое положение. Но суровые испытания кончились, не успев загубить его дарования; Шевченко вынес из них неоценимый личный опыт, каким едва ли обладал кто-либо из его современников, выступавших на защиту закрепощенного народа. И раздавшаяся скоро из его уст песня была всецело этим выстраданным опытом.



## ГЛАВА II. НА СВОБОДЕ: ПОЭТ И ХУДОЖНИК (1838–1847)

*В Академии художеств. – Нужда и светское общество. – Украинская муза. – Первые произведения: “Кобзарь” и “Гайдамаки”. – Отношение критики и общества. – Звание свободного художника. – На родину. – Восторженная встреча. – Темная сторона: “мочеморды” и крепостники. – Светлая сторона: княжна Репнина; киевский кружок молодежи. – Поездка в Кирилловку. – Стихотворение “До мертвых и живых...” – Жизнь в Киеве. – Предполагаемая поездка за границу. – Кирилло-Мефодиевское братство.*

“Свобода, свобода!” – кричал Шевченко, врываясь в комнату своего приятеля и бросаясь к нему на шею.

Свобода после своего рода 24-летнего заключения, свобода человека, в первый раз в своей жизни вздохнувшего полной грудью, – как передать глубину чувств, испытанных поэтом! Вспомните лермонтовского “Мцыри”:

и жизнь моя  
Без этих трех блаженных дней  
Была б печальней и мрачней  
Бессильной старости твоей.

А что была бы жизнь Шевченко без этой свободы?

По всей вероятности, он также не вынес бы неволи и погиб, не испытав даже “трех блаженных дней”! Теперь же перед ним открывалась целая жизнь, в которой он мог действовать как свободный человек.

Итак, борьба кончилась, цель достигнута, настало время положительной работы. На первом плане стояла все еще живопись: она вывела на дорогу свободы, ей и намерен был отдать свои силы Шевченко. Он поступил в Академию художеств, усердно посещал классы, в особенности студию Брюллова, который вскоре полюбил и приблизил к себе своего высокодаровитого ученика. Занятия шли успешно, но материальное положение Шевченко было не завидно. По-видимому, он получал какую-то стипендию, хотя и незначительную; кое-что зарабатывал на портретах и рисунках. Но всего этого было, конечно, недостаточно, и

ему приходилось нередко голодать вместе с другими товарищами, такими же бедняками, как и он сам, что видно, между прочим, из следующего курьезного эпизода.

Получив “вольную”, Шевченко поселился на первых порах у своего приятеля Сошенко, но прожил с ним только четыре месяца; разница в характерах, возрасте, образе жизни, наконец, в стремлениях скоро расхолодила дружбу. Сошенко, как вообще посредственность, держался обеими руками за свое ремесло и не мог простить Тарасу, что тот вместо “настоящего” дела стал все более и более увлекаться своими “никчемными” виршами. Полный же разрыв, завершившийся изгнанием Шевченко, произошел благодаря племяннице квартирной хозяйки, которую любил Сошенко и которую отбил у него юный поэт. Изгнанный с позором Шевченко поселился сначала один, но скоро тяжело заболел, и его приютил у себя товарищ по Академии, Понамарев, занимавший казенную квартиру в академическом здании. Рядом с ним помещался другой молодой художник, Петровский, и все трое, ученики одного учителя, “Великого Карла” (Брюллова), жили между собой дружно, как братья. “Однажды, – рассказывает Понамарев в своих воспоминаниях, – мы все трое тужили на пустоту наших желудков, так как сидели буквально без куска хлеба, не имея ни гроша наличных и ни на копейку кредита. Петровский предложил нам идти с ним обедать к его матери на Пески, но мы должны были отказаться от такого радушного приглашения, боясь опоздать к вечерним классам. Оставшись с Тарасом в мастерской Петровского, мы с горя начали петь малороссийские песни. От матери Петровский возвратился сытым, да еще с рублем серебра в кармане. Проголодавшемуся Тарасу пришла в голову злая мысль: мигнув мне запереть двери и держать Петровского за руки, он моментально вынул у него из кармана заветный целковый, и мы бегом пустились прямо в трактир “Рим”. Так как злосчастный рубль был припасен Петровским совсем не для бифштекса, а для приобретения птицы (которая нужна была для скопирования крыльев), то нужно было во что бы то ни стало добыть ее. Шевченко озарила счастливая мысль: у помощника полицеймейстера Академии, Соколова, на заднем дворе имелся небольшой табунок гусей, и мы с Шевченко отправились на охоту. Накрыв одного гуся шинелью и зажав ему клюв, мы потащили его в мастерскую Петровского. Крылья ангелу были живо написаны, а гуся солдат-истопник сварил для нас в самоваре на тризну. Шевченко скоро разбогател так, что по уплате Соколову за гуся рубля у него осталось еще столько же”. “Брюллово, – прибавляет Понамарев, – очень смеялся нашей проделке из любви к искусству”. Что же тут смешного? – скажут, пожалуй, люди, ставящие

благопристойность превыше всего. В такой короткий промежуток времени три предосудительных дела: грязный роман, грабеж, воровство, а раньше – мы слышали – и взяточничество, и воровство пятаков... Да не смущаются души ваши (о, если бы они были так же чисты, как чиста была душа юноши поэта!), ответим мы этим строгим блюстителям внешней добропорядочности. Хорошо, это – недостатки, назовите их даже пороками; но разве вы не видите, что они не имеют ровно ничего общего с великим дарованием поэта и свидетельствуют лишь о той житейской школе, какую пришлось пройти ему не по своей вине...

Восторги свободы сменялись не только голодовками, но, что еще хуже, “артистическими кутежами” и “светскими развлечениями”, а попросту сказать, ночными оргиями, в которые посвятил Шевченко его учитель Брюллов, в то время идол всей академической молодежи.

“В квартире его, – говорит один из биографов Шевченко, – в академическом здании, наверху, нередко по ночам собирались молодые художники, ученики “Карла Великого”, между которыми не последнее место занимал и наш Шевченко. Там происходило страшное безобразие и великое пьянство...” Но это “великое пьянство” представляло только цветочки, а ягодки были еще впереди... Шевченко завязал через Брюллова и других довольно обширные знакомства. Его везде принимали как диковинку, с любопытством рассматривали, удивлялись ясности взглядов его на многие предметы, меткости и смелости его суждений, слушали прекрасное пение малороссийских песен и, конечно, восхищались. Одним словом, он вошел в моду. Общество требовало, чтобы он был хорошо одет и не нарушал светских условностей; что же касается того, что он ел, где жил, чем вообще существовал, до этого обществу, по обыкновению, не было никакого дела. Он являлся новинкой среди приехавших развлечений, и общество забавлялось им, до поры до времени, конечно. Добряк Сошенко пытался было уговорить своего приятеля, чтобы тот бросил “безалаберную жизнь, не свойственную нашему брату-художнику, плебею, живущему для одного искусства или, лучше, для куска насущного, бросил рассеянную жизнь светских шалопаев и серьезно принялся за живопись”. “Эй, Тарас, – говорил он, – опомнись! Что ты дела не делаешь? Что тебя нечистая сила носит по тем гостям? Имеешь такую протекцию, такого учителя! Куда тебе – и слушать не хочет... Загулял мой Тарас, не будет из него ничего путного!”

Конечно, не Сошенко, жившему “для одного искусства или, лучше, для куска хлеба”, было удержать неугомонного Тараса, который рвался, и сам еще не зная хорошенько, куда, но только, несомненно, не к “искусству ради

искусства” и не к куску хлеба.

Как это ни странно, но и в самый разгар недоступных прежде удовольствий Шевченко был в действительности далек не только от светской жизни, но и от своего профессионального теперь занятия – живописи. Еще раньше в нем вспыхнуло поэтическое дарование, а теперь, вместе со свободой, оно разгорелось ярким пламенем. Удовольствия, развлечения, интерес, вызываемый его личностью, даже похвалы самого Брюллова – все это, по-видимому, не задевает его глубоко. Муза переносит его на Украину; он чувствует себя в родной атмосфере среди родной природы и родного народа; одна за другой встают в его воображении картины то из далекого прошлого, то из только что пережитого настоящего. Но пусть поэт говорит сам за себя: “Перед его (Брюллова) дивными произведениями я задумывался и лелеял в сердце своем слепца-кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной, дикой степи наднепровской, передо мною мелькали тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами, передо мною красовалась моя прекрасная бедная Украина во всей непорочной, меланхолической красоте своей... И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной, чарующей прелести!..” Одним словом, как позже в киргизских степях, так и теперь в петербургской светской пустыне у Шевченко была одна святыня, которой он поклонялся, – его Украина. Думами о ней он только и жил *серьезно*, и любовь к ней вызвала наружу его лучшие душевные силы, его поистине удивительное поэтическое дарование.

Мы не знаем порядка, в каком появились его первые произведения; по-видимому, Шевченко сначала не рассчитывал даже, что они могут быть напечатаны. Да это и не особенно важно для нас; талант не развивается по часам и дням, и для того, чтобы судить о его постепенном развитии, нам достаточно знать, к какому из периодов жизни относится то или другое произведение. Что же касается связи каждого данного произведения с жизнью поэта, то в нашем случае это не имеет серьезного значения, так как почти все содержание поэзии Шевченко лежит вне той сферы жизни, в которой ему пришлось вращаться в зрелом возрасте, и здесь точные даты можно свободно заменить периодами. По этим же соображениям мы предпочли выделить и представить в отдельной главе краткий обзор поэзии Шевченко, а в рассказе о его жизни ограничиться лишь некоторыми необходимыми указаниями.

Первые поэтические произведения Шевченко относятся к 1838 году, из наиболее ранних он сам называет “Причинну”, написанную еще в Летнем

саду в предчувствии свободы. Произведения эти читались обыкновенно Гребенкой, приходившим в восторг от них; он же напечатал некоторые из них в своем сборнике.

Шевченко писал беспорядочно, на клочках бумаги. Однажды некто М-с поднял с полу такой клочок исписанной бумаги; это оказались стихи из “Тарасовой нічі. Слово за слово, выяснилось, что у Шевченко целый ящик таких стихов. М-с попросил просмотреть их и, приведя в порядок вместе с Гребенкой, решил напечатать. “Знаете что, Тарас Григорьевич, – сказал он ему при свидании, – я прочитал ваши стихи. Очень, очень хороши! Хотите – напечатаю?” – “Ой, нет, – отвечал тот, – не хочу, не хочу, право же не хочу! Пожалуй, еще побьют! Ну их!” “Много труда, – говорит М-с, – стоило мне уговорить Шевченко. Наконец он согласился, и я в 1840 году напечатал “Кобзаря”. В книгу вошли, кроме дум, “Наймичка”, “Причинна”, “Утоплена”, “Перебендя”, “Тополя”, “До Основьяненка”, “Иван Підкова”, “Тарасова ніч”, “Катерина”.

Появление “Кобзаря” встречено было в Малороссии с восторгом; но критики столичных журналов, в том числе даже и Белинский, отнеслись как к этому сборнику стихотворений, так и к появившейся вскоре за ним (в 1842 году) известной поэме “Гайдамаки” неодобрительно. Белинский, по обыкновению своему, произнес очень резкий приговор. “Хороша та литература, – восклицает он, – которая только и дышит, что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума!” Но затем суровый приговор был смягчен; талант автора признали и только советовали ему писать на общелитературном языке и выбирать сюжеты более возвышенные. Вероятно, что неподдельный, чистый народный язык, и притом южнорусский, и чисто народное содержание поэзии поразили наших присяжных критиков, и некоторые из них, наименее чуткие, позволили себе сделать автору уж слишком грубые наставления. Шевченко не замедлил им ответить. Так, в “Гайдамаках” читаем:

Колы хочешь грошей  
Та ще й славы, того дыва,  
Спивай про “Матрешу”,  
Про “Парашу, радость нашу”.  
Султан, паркет, шпоры —  
От де слава!..

...

Спасыби за раду!  
Теплый кожух, тилько шкода,

Не на мене шытый;  
А розумне ваше слово  
Брехнею пидбыте.  
Выбачайте! Крычить соби —  
Я слухать не буду,  
Та й до себе не поклычу:  
Вы разумни люде,  
А я дурень...

“Москали<sup>[13]</sup> называют меня, – пишет Шевченко в одном письме, – энтузиастом, сиречь дурнем... Пускай я буду мужицкий поэт, лишь бы только поэт, мне больше ничего и не нужно. Вы, спасибо вам, не хотите рассказывать мне про людей. Цур им! Попробовал уже я этого меду, чтоб он скис”.

Зато Украина и вообще малороссы сразу угадали в авторе “Кобзаря” своего народного поэта. “В то время, – говорит А. Чужбинский в своих “Воспоминаниях”, – кроме “Энеиды” Котляревского, которой девицам читать не давали, на украинском языке были уже повести Квитки, Полтова и “Приказки” Гребенки, имелись везде рукописные сочинения Гулака-Артемовского; но все это читалось как-то вяло высшим кругом. Появление “Кобзаря” мигом разбудило апатию и вызвало любовь к родному слову”. В особенности понравилась “Катерина”; она ходила в тысячах рукописных экземпляров и была заучена почти каждым украинцем на память. “Все были поражены, – говорит В. Маслов, – глубиной и свежестью чувства поэта, верным изображением малороссийской народной жизни и небывалою до того времени прелестью малороссийского стиха”.

Имя Шевченко вдруг приобрело громадную известность и сразу заняло первое место в ряду украинских поэтов. Такой крупный представитель малорусской интеллигенции того времени, как Основьяненко (Квитка), в письме к автору выражает свой восторг такими словами: “А книжку как раскрыл – смотрю – “Кобзарь”, хотя и сильно уже зачитанный! Пустяки! Я прижал его к сердцу, потому что люблю вас, и ваши думки крепко ложатся мне на душу. А что Катерина, так, так – что за Катерина! Хорошо, батечку, хорошо! Больше ничего не могу сказать... Нет, а ваши думки! Прочитаешь и по складам и по верхам, то опять снова; а сердце так и йока!”

Естественно, что горячий и единокорный восторг земляков был принят Шевченко ближе к сердцу, чем неодобрение присяжных критиков, и

не потому только, что там – восторг, а здесь – неодобрение. Дальнейшее показало, на чьей стороне была правда. Шевченко не пришел в уныние от нападков критиков; он ответил им, как мы видели, в насмешливом тоне, а чтобы доказать, что он владеет также и общелитературным языком, задумал писать повести на этом последнем.

Шевченко не только мыслями был с Украиной и на Украине; он не забывал, что связан с нею и самыми непосредственными, кровными узами, что у него есть братья и сестры, которые продолжают тянуть лямку крепостных. Выбившись на дорогу, он вспоминает о них и на просьбу брата Никиты дать ему займы денег отвечает истинно братским письмом. Посылая деньги, он пишет: “Да знай, что мне грех давать займы братьям деньги; если есть у меня, то дам и так, а если нет, то простите... Присматривай за сестрой Марусей. Помогай бедной Ярыне... Кланяйся сестре Катерине. Поцелуй старого деда Ивана...” Обо всех родных болела душа поэта, а что это были не пустые любезности, обычные в переписке между родственниками, покажет дальнейшее. И еще он просил брата, чтобы тот писал ему обязательно на чистом малорусском языке.

В занятиях поэзией, живописью, в развлечениях (причем, несмотря даже на брюлловские “оргии”, мысль об Украине овладевала поэтом и художником все больше и больше) прошло около пяти лет. В 1843 году Шевченко получил звание свободного художника и мог оставить школьную скамью. Ему было тогда под тридцать. В полном расцвете сил и окрыленный наилучшими надеждами на будущее, в чем поддерживал его громадный успех первых начинаний, рвется он на родину. “А я, – пишет он о себе около этого времени, – чорт знает что, не то занят делом, не то гуляю, таскаюсь по этому чортовому болоту да вспоминаю нашу Украину. Ох! Если бы то мне возможно было приехать до соловья! Хорошо бы было, да не знаю... вырвусь ли”.

Желание поэта осуществилось скоро. В том же 1843 году мы видим его уже в Малороссии, на балу в знаменитой Мойсевке, куда съезжались помещики из Полтавской, Черниговской и Киевской губерний; собиралось их здесь в торжественных случаях человек до двухсот, и гостили они по несколько дней подряд. Балы, устраиваемые ветхой старухой, владельницей Мойсевки, говорит А. Чужбинский, были своего рода Версалием для Малороссии: “Туда везлись напоказ самые модные платья, новейшие фигуры мазурки, знаменитейшие каламбуры, и там же бывал иногда первый выезд девицы... Огромная в два света зала едва могла поместить общество, хотя немалая часть гостей занимала другие комнаты и много мужчин играло в карты по своим квартирам. Старинная мебель,

цветы, прошлые зеркала и занавесы – все это при освещении и новейших костюмах, под звуки музыки, представляло необыкновенно интересный вид...” “Дамы и девицы, одна перед другой, щеголяли любезностью, красотой, изысканностью и роскошью туалета...” Мужчины любезничали с дамами, плясали, играли в карты и пьянствовали. Но самый удивительный экземпляр в этом зверинце представляла сама хозяйка, 80-летняя старуха, в это время уже почти ослепшая. “Страстная охотница до карт, она уже не могла играть сама и только просиживала далеко за полночь возле игравших, услаждая слух свой приятными игорными возгласами и утешаясь каким-нибудь казусом”. Большею части гостей своих она не знала, даже никогда и не слыхала о них. Что они Гекубе и что Гекуба им! Старухе пора было умирать, да видно карты не пускали на тот свет, – и гости, всегда готовые отозваться на приглашение, приезжали, размещались в апартаментах и, навеселившись вдоволь, как бы сделавши свое дело, разъезжались по домам. Странная, на наш взгляд, хозяйка, и странные гости, и еще более странный и непонятный весь строй их жизни!

Мы не тревожили бы “многострадальных теней” этих картежников, плясунов и пьяниц, если бы судьба не забрасывала в их среду и людей совершенно другого склада. Так, на этом же балу в Мойсевке мы встречаем вместе с Шевченко писательницу З., самого рассказчика Чужбинского, Гребенку. В настоящем случае нас интересует Шевченко. Как отнеслось к нему это общество, и что он сам чувствовал?

Его встретили с распростертыми объятиями, как давно желанного гостя: “Весть о приезде Шевченко мигом разлилась по всему дому... Все гости толпились у входа, и даже чопорные барыни, которые иначе не говорили как по-французски, и те с любопытством ожидали появления поэта”. Его знали уже по “Кобзарю”; внешность его производила также благоприятное впечатление: “Он был среднего роста, плотный; на первый взгляд лицо его казалось обыкновенным, но глаза светились таким умным и выразительным светом, что невольно (Чужбинский не знал, что это Шевченко. – *Авт.*) я обратил на него внимание...” “Целый день он был предметом всеобщего внимания, за исключением двух, трех личностей, которые не признавали не только украинской, но и русской поэзии”.

Вчерашний крепостной, которому прежде любой и любая (за ничтожнейшими исключениями) из толпившихся вокруг него гостей с легким сердцем дали бы “зуботычину”, явился теперь перед ними в образе поэта, так неожиданно и так сильно заговорившего на похороненном уже было языке; эта толпа бонвиванов, как бы назло собственной жизни, чувствовала что-то родное в поэзии бывшего крепостного. Шевченко



представлял любопытную диковинку, на которую каждому хотелось взглянуть. Здесь повторилось то же, что было и в Петербурге, только, естественно, удивление и восторг принимали более откровенные и более резкие формы. Но любопытство насыщается, бонвиваны принимаются за свои дела; они развлеклись, натешились; а поэт? Какое дело нам до поэта, скажут более откровенные из них... Чужбинский говорит, что Шевченко “видимо был тронут блистательным приемом”, что он скоро сделался “как свой со всеми и был точно дома”. Едва ли этому, однако, можно поверить. Очень возможно, что Шевченко “не надеялся встретить такого радушия от помещиков”, что он “был в духе”, что ему по сердцу пришлись родной говор, родные песни, которые он слышал здесь; но он слишком много пережил и слишком хорошо знал помещичий быт, чтобы принять тотчас же “блистательный прием” за чистую монету и чувствовать себя в кругу обрисованного нами общества “как дома”. Наконец, сам же автор “Воспоминаний” рассказывает, с каким кружком из этого многочисленного общества Шевченко сошелся поближе, и на какой почве произошло это сближение. Упомянутый кружок был в своем роде знаменем времени, знаменем разложения помещичьего крепостного быта, а для Шевченко лично – продолжением петербургских пьяных оргий. Восторгов и удивления, раз они не имеют никакой реальной связи с самой жизнью восторгающихся и удивляющихся, надолго не хватит. Многочисленное украинское помещичье общество, в конце концов, не могло предложить своему народному поэту ничего лучшего, чем карты или пьянство. Он выбрал последнее, изведенное уже. Сам Шевченко, скажут, тяготел к такого рода удовольствиям. Это неправда или, вернее, та полуправда, что хуже неправды. По крайней мере, в описываемую пору Шевченко предавался излишествам только в обществе людей, с которыми ему, собственно, нечего было делать, которые смотрели на него как на диковинку и забавлялись им ради мимолетного развлечения.

Но возвратимся к кружку, который увлек за собой Шевченко в Мойсевке. Мы уже сказали, что он представлял весьма характерное явление. Познакомимся же с ним поближе по описанию Чужбинского. Кружок этот, говорит он, назывался “обществом мочемордия”; “мочить морду” означало пьянствовать, а “мочемордой” признавался всякий удалой питух;<sup>[14]</sup> неупотребление спиртных напитков называлось “сухомордием” или “сухорылием”. Члены, смотря по заслугам, носили титулы “мочемордия”, “высокомочемордия”, “пьянейшества” и “высокопьянейшества”. За усердие раздавались награды: сивалдай в петлицу, бокал на шею и большой штоф через плечо. В известные дни или

просто при съездах они совершали празднества в честь Бахуса; собрание созывалось следующими возгласами: бас гудел: “Ром! Пунш!”; тенора подхватывали: “Полпиво!<sup>[15]</sup> Полпиво! Глинтвейн! Глинтвейн!”; а дисканты выкрикивали: “Бела, красна, сладка водка!” Затем великий магистр произносил приличную речь, и “мочеморды” предавались своим возлияниям.

Истый “мочеморда” мог употреблять какие угодно горячие напитки; честь общества требовала только, чтобы он воздерживался от простой водки; в крайнем случае, когда под рукой не было никакой настойки, “мочеморда” пил гривенниковку, то есть простую водку, в которую, за неимением никаких специй, бросали гривенник, и она сходилась за настойку. Старейшиной, великим магистром в ту пору был отставной гусар Закревский, умный и благородный человек, душа общества, по словам Чужбинского. Впрочем, он всех “мочеморд” называет умными, благородными и гуманными людьми; мало того, он находит, что “слабость эта, извиняемая в дворянском быту, а в то время заслуживавшая даже особенную похвалу, не вредившая никому, не мешала членам упомянутого кружка быть приятными собеседниками...” Мы отказываемся, однако, понять, каким образом общество, организованное ради беспробудного пьянства и проводящее все время в пьянстве, могло состоять из порядочных людей. Конечно, порядочный человек мог сюда попасть случайно и мог “мочить морду”; но как общество оно представляло верх уродства и безобразия. В те времена, говорят, порядочные люди не могли найти себе деятельности и предавались пьянству; это ложь, и ложь злостная, ибо чем хуже времена, тем больше дела для каждого человека; нужно только уметь взяться за него. Итак, мы не можем согласиться с тем, что Шевченко попал в кружок порядочных людей. “Мочемордие” было прямым продолжением брюлловских оргий, злополучием, испытанием более тяжким и гибельным, чем перенесенная нищета, секуции и так далее. Не добром приветствовала родина своего поэта. “Ром! Пунш! Полпиво! Глинтвейн!” и так далее – вот что раздалось вдруг неожиданно в его ушах. Но скоро он нашел действительно достойных людей, связал с ними свою судьбу, а родина, приняв его в свои горячие объятия, разожгла в нем поэтическое вдохновение до высшей точки. Всякий же раз, когда ему приходилось бывать в мойсевских и им подобных кружках, он, несомненно, спрашивал себя внутренне:

...зачем я тут?

И что мне делать между ними?

Они все пляшут и поют,  
Они родня между родными,  
Они все равны меж собой, —  
А я!..

(“Тризна”)

Хотя Шевченко снисходительно относился к времяпровождению своих новых знакомых и принимал даже в нем участие, но он был чрезвычайно чуток ко всякому проявлению насилия и самодурства со стороны помещиков к своим крепостным. Вот два характерных случая. Один помещик пригласил Шевченко на обед. “Мы пришли, – рассказывает Чужбинский, – довольно еще рано. В передней слуга дремал на скамейке. К несчастью, хозяин выглянул в дверь и, увидев дремавшего слугу, разбудил его собственноручно по-своему, не стесняясь нашим присутствием. Тарас покраснел, надел шапку и ушел домой. Никакие просьбы не могли заставить его возвратиться”. В голове Шевченко промелькнуло, вероятно, Вильно: такая же передняя и казачок, увлекшийся рисованием далеко за полночь, и подобная же собственноручная расправа хозяина... Как он был далек теперь от всего этого! И вдруг на его глазах повторяется та же история. На счастье помещика, он овладел еще своим гневом; он *только* повернулся и ушел домой. Но зато помещик, который, не случись этого казуса, оказал бы, вероятно, также “блистательный прием” поэту, не остался в долгу: “Темная личность эта, – говорит Чужбинский, намекая, вероятно, на донос, – действуя во мраке, приготовила немало горя нашему поэту...”

Другое столкновение на той же почве произошло у Шевченко с известным собирателем малороссийских песен, “гуманным” и “благородным” Лукашевичем. Однажды, в суровую зиму, он посылает пешком своего крепостного человека по какому-то неважному делу к Шевченко, находившемуся тогда в Яготине, за 30 верст, и строго приказывает ему возвратиться с ответом в тот же день. Шевченко не хотел было верить такому бесчеловечному приказанию со стороны “большого либерала”, как он думал о Лукашевиче. Но факт был налицо. Не имея права удержать посланца, он написал Лукашевичу письмо, исполненное желчи и негодования, объявляя вместе с тем о прекращении всякого знакомства с ним. Тот не устыдился, однако, и отвечал, что у него 300 душ таких же олухов, как Шевченко. Рассказывая под свежим впечатлением Репниной об

этом случае, Шевченко рыдал, как ребенок.

Вообще даже биограф М. Чалый, ставящий в заслугу некоторым лицам, что они “снисходили” “с высоты своего общественного положения” “к плебею Шевченко”, находит, что “большинство новых знакомых Тараса Григорьевича не отличались ни особенными нравственными качествами, ни горячей любовью к родному языку, ни привязанностью к родной старине”. Благодаря постоянным переездам у Шевченко завязалась масса таких знакомств. Насколько они были связаны с темной стороной жизни поэта – мы знаем; обратимся теперь к светлой.

Отдельно приходится отметить его дружбу с княжной Репниной, дочь бывшего украинского генерал-губернатора. Шевченко было заказано сделать копию с портрета старика Репнина. Он познакомился со всем семейством, прожил довольно долго в Яготине и сошелся особенно близко с Варварой Репниной, для которой написал на русском языке и которой посвятил стихотворение “Тризна”. С чисто женским инстинктом она сразу угадала, что за человек автор “Кобзаря”, и, будучи девушкой образованной, серьезной, доброй, религиозно настроенной, всеми силами старалась отвлечь его от “мочеморд” и “сухоморд”, вообще от всякого рода “морд”. Так, например, она пишет ему: “О, не говорите, что на вас нападают люди: здесь не завистники, не подлецы ваши обвинители; я, я – сестра ваша, ваш искреннейший друг – ваша обвинительница. Я не сужу о вас по рассказам, я не осуждаю вас, но я со смелостью, которую должна бы иметь гораздо прежде, ибо вы уже давно в числе друзей моих, говорю вам, как брату, что не раз, что слишком часто я вас видела таким, каким не желала бы видеть никогда... Простите моей искренности, моей докучливости и поймите бескорыстное чувство, которое водит моим пером”. И, несомненно, она имела благотворное влияние на Шевченко; он называл ее своим “добрым ангелом” и благоговел перед нею; но, увы, и она не могла отвлечь его от “полтавских и черниговских безобразников”! Тут нужно было кое-что посущественнее хорошего, доброго, участливого слова.

Покинув Петербург, поэт снова стал лицом к лицу с крепостным правом; мысль о положении народа, на служение которому он отдал все свои лучшие силы, мучила его неотступно, тем более что его родные братья и сестры продолжали нести на себе тяжелое иго неволи. Виноват ли Шевченко, что он встречал более человеческое отношение к крепостным среди “мочеморд”, чем даже среди юных помещиков, рекомендуемых его вниманию княжной Репниной? “От грустного вашего письма, – пишет княжна, – у меня навернулись слезы. О, уведоьте меня, когда вы будете

совершенно спокойны насчет братьев ваших!” Когда *он* будет совершенно спокоен насчет своих братьев! Да разве это не *совершенно* ясно! Очевидно, когда они будут свободны. Никакие компромиссы тут невозможны. Неужели Репнина, зная Шевченко, не понимала этого?... Более успешной оказалась ее деятельность по распространению произведений поэта. Она брала на комиссию не только такие произведения, как “Кобзарь” и “Живописная Украина” (рисунки Шевченко), но также и более слабые, как “Тризна”, и распродавала их между знакомыми, во время дворянских съездов и так далее. Наконец, она вступила было в переписку с Шевченко, когда он находился в опале, и принялась хлопотать о смягчении его участи, но об этом мы расскажем в своем месте.

Затем Шевченко начинает переезжать с места на место, гостит у разных помещиков, навевается, по-видимому, в Петербург, и в 1845 году мы снова видим его в Киеве, откуда он совершает поездки в разные места Киевской, Полтавской и Черниговской губерний. Здесь он вместе с Кулишем становится во главе молодежи, задавшей целью проповедовать среди украинских помещиков идею об освобождении народа от крепостничества, а в самом народе распространять просвещение. В. Шевченко, нареченный брат Тараса, рассказывает в своих “Воспоминаниях”, что осуществление второй задачи, по словам поэта, предполагало следующий путь. “Каждый из участников сообразно со своими достоинствами назначает сумму, какую он может внести в общественную кассу. Кассой управляет выборная администрация; касса пополняется как взносами, так и процентами, а как возрастет достаточно, тогда и будут выдавать из нее бедным людям, которые, окончив курс гимназический, не в состоянии поступить в университет. Тот, кто брал это вспомоществование, обязывался по окончании университетского курса служить шесть лет сельским учителем. Сельским учителям предполагалось у казны и у дворян помещиков выхлопотать плату; а если эта плата окажется недостаточной, то прибавлять из кассы”. Со стороны правительства не предвиделось никаких затруднений, так как оно не запрещало заводить школы среди казаков и государственных крестьян; что же касается помещиков, то необходимо было, конечно, склонить их к этому.

Дело это задумано было года за три, за четыре до катастрофы 1847 года, но мы не знаем, имело ли оно какие-либо практические последствия или погибло в самом зародыше. Шевченко же как бы ожил; это было то, о чем он мечтал; отнюдь не все, но для начала вполне достаточно. Посетив родное селение Кирилівку, он рассказывает братьям о своих планах и надеждах, декламирует стихи и, по-видимому, чувствует себя вполне “на

родине”. Молодые батюшки из окрестных сел, узнав о приезде такого дорогого гостя, также собрались провести с ним время и наперерыв старались развлечь его разговорами “в современном духе”. Но Шевченко почти не обращал на них внимания и весь вечер беседовал больше со “стареньким” батюшкой, которого он знал, когда еще учился у дьяка, нещадно дравшего его розгами. Ему надоели уже модные разговоры. Приветливый и разговорчивый с простыми людьми, он поворачивается спиной к тем, от кого слышит пустые и неискренние речи. Те недоумевают и произносят свой суд: “Якій вин дурный”. Но простая баба Лымириха, подвернувшаяся тут кстати, объясняет им, в чем дело: “Вероятно, батюшки, – говорит она им, – с вами ему не о чем было говорить, потому что с нами, простыми людьми, он всегда бывает неистоцимо говорлив и забавен”.

Пребывание на родине едва не завершилось неприятной историей. Родные проводили Тараса до ближайшей корчмы за селом и здесь выпили на прощание. Собралась довольно порядочная кучка народа; из-за какого-то пустяка началась, как это часто бывает, перебранка с шинкарем-евреем, и тот нанес одному из крестьян грубое оскорбление. Шевченко не вытерпел и закричал: “А нуте, хлопци, дайте поганому жидови хлосту!” Еврея моментально схватили и высекли. Но дело этим не кончилось: пошли доносы, что Шевченко проповедует колиивщину<sup>[16]</sup> и для начала, набрав сто человек поселян, хотел вырезать всех жидов в Кириловке. Полиция взялась за расследование и довела бы до сведения высшего начальства о “бунте”, если бы Тарасовы братья, приняв на себя всю вину, не откупились. Не следует, однако, думать, что Шевченко страдал юдофобством. Он, как и вообще вся масса малороссов, не питал симпатий к евреям, но в серьезных и решительных случаях умел сохранять беспристрастие. Так, однажды он бросился спасать имущество из горевшей лачуги еврея, в то время как собравшийся народ смотрел с полным равнодушием на пожар, и горячо упрекал крестьян, говоря, что человек в беде и нужде, какой бы он ни был нации и какую бы ни исповедовал религию, становится нам самым близким братом.

Ко времени этих перекочевков относится замечательное по силе и содержанию произведение Шевченко “До мертвых и живых и ненарожденных землякив моих в Украины и не в Украины суцых мое дружее посланіе”. Он далек здесь от всяких узких националистических стремлений и громит тех людей, которые, отрешившись от жизни своего народа, безжалостно эксплуатируют его. “Гирше ляха, – говорит он, – свои диты іи (Украину. – Авт.) роспынают”. А между тем сколько “гвалту” и “крыку” подымают они. Вслед за другими они твердят, что язык

малорусский – “и гармония, и сыла, музыка, та й годи! А история? Поэма вольного народу!..” “У нас воля выросла, – говорят они, – Днипром умывалась, у головы горы клала, степом укрывалась!..” “Кровю вона умывалась, – отвечает им Шевченко, – а спала на купах, на козацких вольных трупах, окраденных трупах!..” Перечитайте снова историю своего народа, советуем им поэт, от слова до слова прочитайте внимательно и тогда спросите себя: кто же такие вы, “чіи сыны? Яких батькив?...” Опомнитесь, грозит он им, станьте людьми, уймьтесь, не оскверняйте образа Божьего, не обманывайте детей ваших, будто бы они для того только и родились, чтобы “панувать”, потому что скоро настанет “суд” и они горько поплатятся. В заключение он снова обращается со словом примирения:

Обнимите ж, братья мои,  
Наименьшого брата, —  
Нехай маты усмихнется,  
Заплакана маты;  
Благословите дитей своих  
Твердыми руками  
И обмытых поцилуйте  
Вольными устами...

Путешествия и перекочевки Шевченко приняли с течением времени несколько иной характер. Он не только знакомился с людьми, но и стал изучать старину, срисовывал древние здания, церковную утварь, раскапывал могилы и т. п. Главным местопребыванием его оставался Киев, и отсюда он совершал более или менее продолжительные поездки в Нежин, Чернигов и другие места. Особенно радушно встретили его нежинцы; в его квартире постоянно был кто-либо из посетителей, а студенты нежинского лицея просто не давали ему покоя. Тут произошел маленький, но любопытный эпизод. Шевченко отправился в собрание и вошел, не снимая своей бархатной шапочки, которую носил после перенесенной недавно горячки. Какой-то чин, строгий блюститель порядка, не хотел было пускать его, но ему объяснили, что Тарас Григорьевич, в каком бы он ни был костюме, делает честь собранию своим посещением, и тот ретировался. В Киеве Шевченко вел самую простую жизнь; ему не по душе были всякие светские приличия и церемонии, и он избегал насколько мог “большого света”. Поселившись вместе со своим товарищем, Сажиним, в квартире

Чужбинского, они по целым дням пропадали, срисовывая разные достопримечательности древнего города, а вечером все трое сходились и обменивались виденным и слышанным. “Ничего не бывало приятнее, – говорит Чужбинский, – наших вечеров, когда, возвратясь усталые домой, мы растворяли окна, усаживались за чай и передавали свои дневные приключения”. В этой простой обстановке, вдали от режущих глаза общественных диссонансов чуткое сердце поэта находит успокоение и он является перед нами во всей прелести своего искреннего и чистого существа. Вместо чинного салона они отправлялись к Днепру, садились над обрывом и, любуясь великолепной панорамой, пели песни или думали каждый свою думу. Любил также Шевченко просиживать подолгу у норки какого-нибудь жучка и изучать его незатейливые нравы и привычки. Он защищал котят и щенят от уличных мальчишек, а птичек, привязанных на сворке, покупал у детей и выпускал на свободу. Однажды он натолкнулся на такую сцену: “гицель” (живодер, обязанность которого лежала в то время в Киеве на полицейском) схватил большую собаку за ребро и, не добивши ее, потащил по улице. Шевченко не выдержал и стал упрекать живодера; тот грубо ответил и тут же начал еще больше тиранить собаку, которая душераздирающе визжала. Шевченко бросился к нему и выхватил из рук дубину... Дело могло кончиться неприятностями, но полтинник все уладил. Особенным расположением поэта пользовались дети, он любил водить с ними компанию; собрав вокруг себя кружок ребят и приласкав робких, он начинал обыкновенно рассказывать сказки, пел детские песни, которых знал много, делал пицалки и вскоре приобретал любовь маленькой толпы. Раз, рисуя возле Золотых Ворот, он нашел заблудившуюся маленькую девочку и после тщетных попыток отыскать мать понес было ее к себе домой, мечтая уже о том, как будет воспитывать, но по дороге встретила мать и взяла ребенка.

Шевченко совершенно не умел, как говорится, обращаться с деньгами; они у него никогда не залеживались; он всегда готов был поделиться с каждым встречным и поперечным. Нищий, пропойца, проигравшийся юнкер – все они свободно могли обращаться к нему, и он делился своим достатком; по-видимому, его нимало не смущала мысль о завтрашнем дне. Поэтому, когда он жил в компании, то денежными делами его заведовал обыкновенно кто-либо из товарищей.

В Киеве Шевченко чувствовал себя связанным в обществе “чопорных денди и барынь”; зато в простом семейном кругу он бывал необычайно разговорчив, любил рассказывать смешные происшествия, не анекдоты, а непременно что-либо из действительной жизни, в чем он подмечал



комическую сторону. Костомаров, вспоминая о Шевченко, говорит также, что хотя “недостаток образования часто проглядывал в нем, но дополнялся всегда свежим и богатым природным умом, так что беседа с Шевченко никогда не могла навести скуку и была необыкновенно приятна: он умел кстати шутить, острить, потешать собеседников веселыми рассказами и никогда почти в обществе знакомых не проявлял того меланхолического свойства, которым проникнуты многие стихотворения”. Удивительно, как он смог сохранить эту способность к простосердечному, неподдельному смеху без малейшего оттенка язвительности после стольких годов истязаний и суровых жизненных испытаний! Он был богато наделен юмором, этим даром избранных натур, который смягчает горечь существования и спасает человека от черствости в обыденной жизни и от излишней суровости, доходящей до изуверства, в серьезных вопросах и тяжелых положениях. А такое именно положение скоро снова настало для Шевченко.

И как странно, гром грянул над головой нашего поэта именно в то время, когда перед ним раскрывались самые заманчивые перспективы. Он был утвержден учителем рисования при Киевском университете и таким образом приобрел хотя сколько-нибудь обеспеченное положение. Но не в том дело. Одна “щирая украинка”, восторженная поклонница Шевченко, предложила поэту, через посредство г-на Кулиша, все свое состояние, чтобы доставить ему возможность провести года три в Италии. “Он обрадовался этому, – говорит г-н Кулиш, – с детской простотой и согласился не знать, откуда возьмутся на то денежные средства”.

В конце 1846 и начале 1847 года Шевченко объезжал знакомых помещиков и собирал свои рукописи, оставленные им в разных домах, предполагая, вероятно, в скором времени отправиться за границу. Случайно он попал, между прочим, на свадьбу той самой украинки, которая предложила к его услугам свое состояние. “Свадьба была превращена им, – замечает г-н Кулиш, – в национальную оперу”. Не обращая внимания на обычную процедуру свадебных пиршеств, он пел свои излюбленные песни, отрывал женщин от танцев, отводил их в дальний уголок и учил песне “Ой зійди, зійди ты, зиронько, та вечирня”. “Хотя поэт, – читаем мы в одном воспоминании об этом вечере, – явно нарушал своим поведением условные светские приличия, тем не менее, он очень нравился молодым женщинам своею оригинальностью, и они без сожаления оставляли кавалеров и следовали за ним”.

Наконец ранней весной, собрав рукописи, Шевченко двинулся в обратный путь, в Киев. Тогда уже ходили, вероятно, слухи об аресте

Костомарова и других и об угрожавшей Шевченко опасности. Напрасно Лизогуб просил его не брать с собой бумаги и оставить их у него, напрасно один из его поклонников, мелкопоместный дворянин Р-ов, надеялся увезти поэта за границу под видом слуги и с этою целью разыскивал его у разных помещиков. Шевченко отправился прямо в Киев с рукописями своих стихотворений в чемодане. Здесь необходимо сказать, хотя бы в самых общих чертах, о деле, имевшем такие печальные последствия для автора “Кобзаря”.

Мы уже упоминали о киевском кружке молодежи, мечтавшем о просвещении народа и освобождении крестьян от крепостной зависимости. С переездом Костомарова в Киев интерес к этим вопросам еще более оживился, но на первый план уже выступила идея “славянской взаимности”. “Наши дружеские беседы, – говорит Костомаров, – обращались более всего к идее славянской взаимности... Чем тусклее она представлялась в головах, чем менее было обдуманых образцов для этой взаимности, тем более было в ней таинственности, привлекательности, тем с большею смелостью создавались предположения и планы, тем более казалось возможным все то, что при большей обдуманности представляло тысячу препятствий к осуществлению. Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась сферой науки и поэзии... В конце концов явилась мысль образовать общество, которого задача была бы распространение идей славянской взаимности, как путем воспитания, так и путями литературными”.

Наиболее деятельное участие в беседах об этом принимали, кроме самого Костомарова, Гулак, Белозерский, Маркевич, Навроцкий и другие.

Случайно стена к стене с Гулаком жил один студент Киевского университета. Он подслушал разговоры, происходившие в соседней квартире, познакомился с Гулаком и притворился, что разделяет его убеждения. Гулак настолько доверился ему, что стал приглашать его на собрания и рассказал о существовании Кирилло-Мефодиевского братства. Не разобрав хорошенько, в чем дело, так как все же ему приходилось больше прислушиваться из-за стены, студент перепутал разговоры о славянской взаимности с воспоминаниями о казацкой эпохе и деятельность мирного общества, не допускавшего даже “тени возмущения против предержащих властей”, представил как целый политический заговор, истинный характер которого был, впрочем, скоро выяснен следствием. Таким образом возникло дело о Кирилло-Мефодиевском обществе. При обысках, произведенных у вышеупомянутых лиц, были найдены, между прочим, непечатавшиеся стихотворения Шевченко. Они-то и навлекли на

поэта беду. Из Петербурга пришло в Киев предписание разыскать Шевченко и, арестовав его, немедленно препроводить в Петербург.

## ГЛАВА III. В ССЫЛКЕ: ПОДНАДЗОРНЫЙ СОЛДАТ (1847–1857)

*Арест. – Приговор. – Орская крепость. – Начальство. – Ссылные поляки. – Тоска. – Аральская экспедиция. – Сравнительная свобода. – Шевченко в роли раскольникового попа. – Оренбург. –хлопоты о производстве Шевченко в унтер-офицеры. – “Рыбье хладнокровие”. – Донос. – Новопетровское укрепление. – Пустыня. – “Образцовый фрунтовик”. – Перемена. – Офицерское общество. – “Душа общества”. – Комендантша. – хлопоты. – Освобождение*

Шевченко арестовали при переправе через Днепр. Дело происходило в начале апреля 1847 года. “Только что я вошел на паром, чтобы переправиться, – писал он одному приятелю, – как со мной случилось такое, что и не следовало бы рассказывать на ночь. Меня арестовали и, посадивши с кем следует на возок, отправили в самый Петербург!” На этом же пароме находился, между прочим, один гусарский офицер, большой поклонник “Кобзаря”. Сообразивши, в чем дело, и догадываясь, что в чемодане поэта, вероятно, есть произведения, которые могут повести к неприятным последствиям, он хотел было столкнуть “вещественное доказательство” в воду; но Шевченко не позволил. Тогда он попробовал подкупить полицейского агента, предлагая деньги за уничтожение некоторых стихотворений, но и это не удалось. Таким образом, Шевченко был представлен по начальству с поличным, что значительно отягчило его вину.

Из Киева Шевченко немедленно увезли в Петербург. Всю дорогу он был чрезвычайно весел, шутил, пел песни. Бодрое настроение не покинуло его и во время производства следствия. Какой-то жандармский офицер перед допросом сказал ему: “Бог милостив, Тарас Григорьевич, вы оправдаетесь, и вот тогда-то запоет ваша муза!” “Не якій чорт нас усих занис, колы не ся бисова муза”, – отвечал поэт.

“После допроса, – говорит Костомаров, – идя рядом со мной в свой номер, Тарас Григорьевич произнес: “Не журися, Миколо, доведеться ще нам у купи житы”. Он как истинный поэт простым инстинктом, чутьем понимал, что уныние – смертный грех; ему не нужно было для этого никаких логических выкладок. Да и какие логические выкладки, усвоенные теории, если они не вытекают из родников собственной мысли и не согреты

жаром собственного сердца, могут устоять в подобных случаях?

Шевченко познал и суровую, и ласковую действительность. Теперь ему предстояло встретить, быть может, еще более суровую, и он ожидал ее с веселым лицом. “30-го мая, – говорит далее Костомаров, – выглянувши в окно, я увидел, как вывели Шевченко и посадили в экипаж: его отправляли в военное ведомство. Увидавши меня, он улыбнулся, снял картуз и приветливо кланялся. Приговор над собою он выслушал с невозмутимым спокойствием”. В другом месте историк говорит: “Он улыбался, прощаясь с друзьями. Я заплакал, глядя на него, а он не переставал улыбаться, снял шляпу, садясь в телегу; а лицо было такое спокойное и твердое”.

“Через полгода, – говорит уже сам поэт (очевидно он ошибается во времени), – вывели меня на свет Божий, посадили снова “на чортопхайку” и отвезли в далекий Оренбург, и там, не водивши даже к приему, надели на меня солдатскую амуницию, и я стал солдат...”

В чем же состояло преступление Шевченко? Обвинение в принадлежности к Кирилло-Мефодиевскому обществу было снято, так как никто из арестованных по этому делу не показал ничего против Шевченко, и никаких других улик не имелось. Зато в особенную вину ему вменялись некоторые стихотворения. Спрошенный по поводу их поэт признал себя автором приписываемых ему стихов и объяснил, что написал их под неотразимым впечатлением всего пережитого и виденного. Шевченко понес более тяжелую кару, чем его товарищи по несчастью. Он как “одаренный крепким телосложением” приговорен был к отдаче в солдаты и наказание свое должен был отбывать в далеком Оренбургском крае, причем ему запрещалось писать и рисовать.

Оренбург, Орская крепость, Раимское укрепление, Аральское море, Новопетровское укрепление – вот этапные пункты десятилетних странствований Шевченко. В Оренбурге у него нашлись земляки и поклонники его таланта; они первым делом стали хлопотать о смягчении горькой участи поэта, и им было обещано “сделать все, что только можно”. Затем один из них навестил Шевченко в казарме. Он застал его лежащим ничком в одном белье на нарах и углубленным в чтение Библии, полученной еще в Петропавловской крепости, когда поэт, умирая от скуки, просил дать что-нибудь почитать. Шевченко встретил весьма сдержанно и недоверчиво посетителя, но скоро его подозрительность рассеялась, и он тесно сошелся со своими земляками. Однако пребывание его в Оренбурге было очень кратковременным. Зачисленный рядовым в 4-й оренбургский линейный батальон, он немедленно должен был отправиться в Орск, к месту своей службы. Относительно положения Шевченко в этой крепости

существуют противоположные указания. Г-н Чалый говорит: “По мере понижения степеней военной иерархии приемы делались грубее, и когда очередь дошла до ротного, тот пригрозил поэту даже розгами, если он дурно поведет себя. Чтобы оградить себя от опасности, Шевченко прибегнул к простой и, как оказалось, весьма действительной мере: купил порядочное количество водки и немного закуски, пригласил ротного командира и некоторых офицеров на охоту и упоил их. С тех пор дело пошло как по маслу, и когда угощение начало забываться, он повторил его”. Г-н же Стороженко утверждает, что положение Шевченко в этом захолустье благодаря хлопотам друзей оказалось более сносным, чем можно было ожидать. “Правда, – говорит упомянутый автор, – юридически он был простой поднадзорный солдат, которого не только офицер, но любой фельдфебель мог отдуть по щекам, но на самом деле он находился в исключительном положении; офицеры обращались с ним как с товарищем, и если Шевченко, тем не менее, страдал нравственно, то это происходило главным образом вследствие тоски по родине, мучительного сознания бесправности своего положения и тяготевшего над ним запрещения писать и рисовать”. Так или иначе, но Шевченко действительно вел в Орской крепости сравнительно сносное существование. Несмотря на запрещение, он смог заняться здесь рисованием, как только получил от Лизогуба необходимые принадлежности. Снисходительное отношение начальства в положении Шевченко было обстоятельством весьма важным для него, но еще большее значение имело то, что он встретил здесь ссыльных поляков и сошелся с ними. Они получили свободу раньше Шевченко, и сохранившаяся переписка показывает, как тесно они подружились с поэтом и как ценили его. В них Шевченко нашел не только товарищей по ссылке, но, что еще важнее, людей, разделявших, по крайней мере, основные его убеждения. Это был неожиданный в своем роде дар случая поэту, тем более что многочисленные некогда друзья не скоро вспомнили о нем. “Прежде, – пишет он Лизогубу, – бывало на собаку брось, так попадешь в друга, а как пришлось плохо, так Бог знает, где они делись! Не поумирили ли уж?... Нет, здравствуют; да только отказались от злополучного друга своего... А если бы они знали, что одно ласковое слово для меня теперь больше всякой радости!.. Так что-то недогадливы они...”

Безденежье, испытанное Шевченко на первых порах, пока некоторые из его друзей не вступили с ним в переписку, сопровождалось рядом болезней и недугов: ревматизмом, цингой, воспалением глаз и так далее. А службу надо было отбывать неукоснительно. Отсутствие книг, рисовальных принадлежностей, даже бумаги представляло для него весьма

чувствительное лишение. Внутреннее состояние поэта во время пребывания в Орской крепости лучше всего рисуют его собственные письма. Приводим из них некоторые выдержки.

“Вы непременно рассмеялись бы, – пишет он Репниной, – если бы увидели теперь меня: вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами – и это буду я! Смешно, а слезы катятся. Что делать?... Горько, невыносимо горько. И при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (кроме писем). А здесь так много нового; киргизы так живописны, оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное: тощие речки Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда эта степь оживляется бухарскими караванами (на верблюдах), как волны моря зыблущимися вдаль и своей жизнью удваивающими тоску. Я иногда выхожу за крепость к караван-сарая или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой странный наряд! Какие прекрасные головы! И какая постоянная важность без малейшей гордости!.. Смотреть и не рисовать – это такая мука, которую поймет только истинный художник”. “Вчера, – пишет он в другом письме к Репниной, – я не мог кончить письма, потому что солдаты товарищи кончили учение; начались рассказы, кого били, кого обещались бить; шум, крик, балалайка выгнали меня из казарм. Я пошел в квартиру к офицеру... и только что расположился кончать письмо... Вообразите мою муку – хуже казарм, а это люди (да простит им Бог!) с большой претензией на образованность и знание приличий, потому что некоторые из них присланы из западной России. Боже мой! Неужели и мне суждено быть таким? Страшно!.. Вчера я просидел до утра и не мог собраться с мыслями, чтобы кончить письмо. Какое-то безотчетное состояние овладело мною. Приидите все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы...”

В первом письме к Лизогубу Шевченко, иронизируя над своей судьбой, писал: “...надо нагибаться, куда клонит доля. Еще, слава Богу, мне как-то удалось укрепить свое сердце так, что “муштруюся” себя и ничего...” Но уже в следующем письме читаем: “И врагу моему лютому не пожелаю так казниться, как я теперь казнюсь... Я страшно мучаюсь, потому что мне запрещено писать и рисовать! А ночи, ночи! Господи, какие страшные и долгие, да еще в казармах!..” “Нельзя, конечно, и без того, чтобы иногда не дать воли и слезам: кто не тоскует и не плачет, тот никогда и не радуется. Бог с ним, с таким человеком. Будем плакать и радоваться!”

Я уже заметил, что, несмотря на запрещение, Шевченко писал также и

стихи, даже и на первых порах ссылки, будучи в Орской крепости. По словам Тургенева, у него была маленькая, переплетенная в дегтярный товар книжечка, которую он всегда носил при себе и в которую вписывал тайком стихи. Так, в стихотворении “А. О. Козачковскому”, написанном в Орской крепости, он говорит:

И довелось знов мени  
На старисть з виршами ховатысь,  
Мережать кныжечкы, спиваты  
И плакаты у бурьяни,  
И тяжко плакать!..

Стихотворения, написанные здесь, или посвящены Украине, воспоминаниям о ней, или изображают душевные состояния, пережитые поэтом в ссылке, и являются, таким образом, прекрасными иллюстрациями к его письмам. “Как же жить на чужбине, – говорит он в этих стихах, – и что делать взаперти?... Горе нам, осиротелым невольникам, в беспредельной степи за Уралом!.. Не для людей и не для славы пишу я теперь эти стихи, а для себя, милые братья. Мне легче становится в неволе, когда я пишу их, и они радуют мою бедную, убогую душу. Мне с ними так же хорошо, как богатому отцу со своими маленькими детьми... В неволе тяжело, хотя, сказать по правде, и воли-то не было настоящей. Но все-таки как-то жилось. Теперь же я, точно самого Бога, жду такой воли и высматриваю, и свой глупый ум проклиная за то, что дался дуракам одурить себя и в луже волю утопить...”

Вспоминая о своих единомышленниках, поэт спрашивает: “Встретимся ли мы еще когда-нибудь или навеки уже разошлись?... Пусть и так, пусть разошлись, но будем вспоминать один о другом, будем свою Украину любить, потому что время – лютое... И в последнюю тяжелую минуту будем за нее Господа молить!..”

Княжна Репнина, убедившись из писем, что ее другу живется далеко не радостно, написала шефу жандармов графу Орлову письмо, в котором просила его облегчить участь поэта-художника, позволить ему рисовать, прибавляя при этом, что правосудие, переходящее границы, становится жестоким. “Переписка<sup>[17]</sup> ваша с Шевченком, – отвечал ей шеф официальной бумагой, – равно как и то, что ваше сиятельство еще прежде обращались ко мне с ходатайством об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что вы принимали в нем участие, неприличное по



его порочным и развратным свойствам”. В заключение ей предлагалось не вмешиваться в дела Малороссии(?), а в противном случае она сама будет причиной неприятных для нее последствий. Конечно, такой ответ не убедил Репнину в том, что Шевченко – человек с “порочными и развратными свойствами”, но она прекратила переписку с ним.

В особенности страшил Шевченко предстоявший поход к низовьям Сырдарьи, где в то время возводилось Раимское укрепление, Кос-Аральский форт, строились Бутаковым шкуны для плавания в Аральском море. Не столько страшны были предстоявшая работа и лишения походной жизни, сколько неизбежное отрешение от всякого умственного общения с людьми; приходилось отказаться даже от той переписки, которую поддерживали с опальным поэтом не успевшие еще забыть его друзья. Туда почта ходила всего только два раза в год. Однако жизнь Шевченко в этом походе сложилась совершенно иначе, чем он предполагал. Вместо тяжелого похода он совершил просто экскурсию, хотя и довольно продолжительную, но не сопряженную для него с лишениями. Кроме устройства укреплений, проектировалась еще морская экспедиция с целью исследования и описания Аральского моря. Во главе этой экспедиции стоял упомянутый Бутаков. Он попросил начальника края Обручева назначить к нему в отряд Шевченко, что и было исполнено. Бутаков же отнесся в высшей степени гуманно к нашему поэту и, освободив его совершенно от солдатской службы, предложил заняться во время экспедиции рисованием береговых видов Аральского моря.

Конечно, Шевченко не мог на этот раз пожаловаться на свою “долю”. В его положении едва ли и можно было придумать что-либо лучшее. Следуя примеру своего начальника, и низшие офицеры относились к нему любезно, а один из них приютил его даже в своей палатке и обедал вместе с ним. Шевченко шел отдельно от роты, в партикулярном платье, отрастил себе бороду, так что перестал даже походить на солдата. Но даже под прикрытием Бутакова он не всегда мог быть спокоен насчет злых выходов против него со стороны сердитого, разнузданного начальства. Так, в Раимском укреплении какой-то подпоручик хотел присвоить себе 68 руб. 30 коп., взятых у Шевченко, и когда последний пожаловался, то тот не только отрицал долг, но и “просил поступить с рядовым Шевченко по всей строгости законов”, будто бы за ложное предъявление претензии. Подпоручик был изобличен во лжи своим же ротным командиром, что и спасло Шевченко от “всей строгости законов”. В июле началось плавание, которое продолжалось с перерывами около полутора лет. Шевченко помещался в офицерской каюте и занимался исключительно тем, что

рисовал акварелью береговые виды. Если он здесь и тоскует, то вследствие отсутствия писем от близких людей. “Вот, – говорит он в одном стихотворении, – принесли с “Ватаги” письма, и все принялись потихоньку читать, а мы с N... легли в сторонке и стали о чем-то разговаривать. И я думал: “Где бы мне того добра достать – письмо или мать”...” Но чаще он уходил в таких случаях на берег моря, пел заунывные украинские песни или вынимал из-за голенища сапога заветную книжечку и вписывал в нее стихи.

Из однообразной жизни во время плавания отметим следующий эпизод. “В 1848 г.,– пишет Шевченко в “Дневнике”,– после трехмесячного плавания по Аральскому морю мы возвратились в устье Сырдарьи, где должны были провести зиму. У форта, на остров Кос-Арал, где занимали гарнизон уральские казаки, вышли мы на берег. Уральцы, увидев меня с широкою, как лопата, бородою, тотчас смекнули делом, что я непременно мученик за веру. Донесли тотчас своему командиру, а тот, не будучи дурак, зазвал меня в камыш да бац передо мной на колени. “Благословите, – говорит, – батюшка! Мы, – говорит, – уже все знаем!” Я тоже, не будучи дурак, смекнул, в чем дело, да и хватил самым раскольничьим благословением. Восхищенный есаул облобызал мою руку и вечером задал нам такую пирушку, какая нам и во сне не грезилась”. В другой раз такие же уральцы-казаки предложили ему 25 рублей, “от которых я, – пишет Шевченко в том же “Дневнике”,– неблагоприятно отказался и этим, по их понятиям, беспримерным бескорытием подвинул благочестивую душу старика (предлагавшего деньги) отговориться в табуне, в кибитке, по секрету, и, если возможность позволит, причаститься от такого беспримерного пастыря, как я. Чтобы не нажить себе хлопот с этими седыми беспримерными дураками, я поскорее оставил укрепление и уже аккуратно, каждую неделю два раза, брею себе бороду...”

По окончании экспедиции Бутаков взял Шевченко с собой в Оренбург под предлогом окончания работ по описанию Аральского моря. Здесь поэт прожил около полугода, пользуясь широкой свободой. Формально он считался, конечно, солдатом, но в действительности не нес никакой службы, сбросил даже солдатскую шинель, жил не в казармах, а во флигеле, предоставленном в его распоряжение адъютантом Обручева, где устроил настоящую мастерскую. Мало того, несмотря на неотмененное запрещение рисовать, Бутаков рискнул формально представить работу Шевченко (альбом видов берегов Аральского моря) главному начальнику края Обручеву и аттестовал его как в высшей степени полезного работника в деле исполнения поручения, возложенного на экспедицию. Обручев

также остался доволен альбомом. Но дальнейшие хлопоты Бутакова о производстве Шевченко в унтер-офицеры, что составляло для разжалованного первый шаг к дальнейшему облегчению положения, окончились большими неприятностями как для Обручева, так и для Бутакова. Шевченко же на этот раз не пострадал; он получил только обратно свой альбом.

О своем душевном состоянии в это время он говорит в письме к Репниной: “Не много прошло времени, а как много изменилось; по крайней мере, сами вы уже не узнали бы во мне прежнего глупо-восторженного поэта. Нет, я теперь стал слишком благоразумен. Вообразите! в продолжение почти трех лет ни одной идеи, ни одного помысла вдохновенного... Проза и проза или, лучше сказать, степь и степь. Да, Варвара Николаевна, я сам удивляюсь моему превращению, у меня теперь почти нет ни грусти, ни радости; зато есть мир душевный, моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Грядущее для меня как будто не существует. Ужели постоянные несчастья могут так печально поработить человека? Да, это так. Я теперь совершенная изнанка бывшего Шевченко и благодарю Бога...” Однако тотчас мы будем иметь случай убедиться, что поэт только напускает на себя “рыбье хладнокровие”. Стихи, которые он и здесь продолжает писать, звучат все тою же горячею любовью к родине и тоской по ней. Да разве и могут лишения, одиночество, пустыня, суровые “ружистики” и “шагистики”, – разве могут утушить жар искренней, пылкой души? Обстоятельства, конечно, влияют, человек может замолкнуть, даже, так сказать, перегореть от сжигающего его внутреннего жара, не находящего себе выхода, но обрести “рыбье хладнокровие” такой человек не может... Если роднику, бьющему из земли, преграждают его естественный путь, он находит себе другой, скрывается под землею, но, во всяком случае, не пропадает до тех пор, пока не иссякнут источники, питающие его.

Шевченко и в ссылке оставался все тем же Шевченко, что и раньше, и от его “рыбьего хладнокровия” не оставалось и следа всякий раз, когда он наталкивался в мыслях или в жизни на безобразие. Один из таких именно взрывов негодования имел для него весьма печальные последствия.

По словам Ф. Лазаревского, его оренбургского друга, дело происходило следующим образом. У одного приятеля Шевченко, оказавшего ему много услуг, была хорошенькая жена, за которой ухаживал некий прапорщик И. Для других это не было тайной, но муж не догадывался. Вот тут-то и начинается возмущение Шевченко. “Как, я, приятель его, вижу, как над ним насмехается его же жена, как его позорят –

и буду молчать! Знать и молчать в данном случае – это значит быть соучастником обмана. Я должен раскрыть ему глаза”, – решал Шевченко и, несмотря на советы друзей не мешаться в это дело, поджидал только удобного случая. Заметив однажды, что прапорщик прокрался тайком к своей возлюбленной, он отыскал мужа и привел его к дверям комнаты, где происходило свидание. Что последовало затем, нас не интересует. Но вот что важно и что имело печальнейшие последствия для Шевченко: на другой день Обручев получил донос, что Шевченко ходит по городу в партикулярном платье, пишет стихи и занимается рисованием. Конечно, Обручев прекрасно знал это и сам; да мудрено было бы и не знать, когда Шевченко рисовал портрет его жены в его же доме. Донос можно было бы бросить в корзину ненужных бумаг... А если одновременно послан такой же донос и шефу жандармов, с которым Обручев был в натянутых отношениях?... Выйдут новые неприятности. Он почему-то даже уверен, что донос послан и туда. Нет, решает генерал, надо действовать, несмотря на неохоту, быстро и решительно, и он приказывает своему адъютанту взять с собой жандармского штаб-офицера и произвести немедленно обыск на квартире у Шевченко, а о результатах донести ему. Дело происходит в субботу, на Страстной неделе.

Упомянутый адъютант, которому поручено было произвести обыск; также водил знакомство с Шевченко; получив приказание, он направился сначала к Лазаревскому и просил его предупредить Шевченко, что не далее как через полтора часа у него будет обыск. Насилу Лазаревский разыскал своего друга, и они поспешили на квартиру, где, при содействии еще одного приятеля, начали наскоро уничтожать разные бумаги, письма и рисунки. Наконец Шевченко, зная хорошо, что у него не найдется ничего предосудительного в политическом отношении, запротестовал: “Довольно, – сказал он, закрывая пачку писем, – оставьте же хоть что-нибудь, а то они подумают, что добрые люди меня и знать не хотят”. Таким образом, в руки жандармов попало два альбома со стихами и около 20 писем от разных лиц. Все это отправлено было в Петербург, а оттуда пришло распоряжение: впредь до окончания следствия отправить Шевченко по этапу в Орскую крепость и там заключить в каземат. Через несколько месяцев, когда выяснилось, что Шевченко не совершил, собственно, никакого преступления, он был освобожден из-под ареста и отправлен в Новопетровское укрепление с предписанием отдать его под строгий надзор ротного командира.

Семилетнее пребывание поэта в Новопетровском укреплении исполнено трагизма, но не шумного, бьющего в глаза трагизма, а того,

который вытекает из ежедневной и ежечасной необходимости быть настороже ввиду возможного посягательства на самые примитивные права и который вконец подтачивает силы человека. Пребывание поэта в Новопетровском укреплении – период самый бесплодный в его поэтическом творчестве и самый губительный для его нравственного существа. Он написал здесь вообще очень мало, а первые годы даже ничего и не рисовал.

“Живу я, – пишет он в письме к одному приятелю, – можно сказать, жизнью публичною, сиречь в казармах. Муштруюсь ежедневно, хожу в караул и т. д. Одно слово – солдат, да еще солдат какой – просто пугало воронье! Усища огромные, лысина – что твой арбуз... Живу, можно сказать, одним воспоминанием”. В этих словах вы слышите еще шутливую нотку. Он мог еще шутить. Но вот в другом письме читаем: “Я – нищий, в полном смысле этого слова, и не только матерьяльно, но и душою и сердцем обнищал... А если бы ты посмотрел, среди какого народа я нахожусь теперь. А я у них в кулаке сижу...” Тут уже не слышно шуток. Человек стал лицом к лицу с безысходностью. “Родился я и вырос в неволе, – говорит он, – да и умру, кажется, солдатом. *Какой-нибудь да был бы конец, а то, право, надоело*”. Не думайте, что это одни только случайно вырвавшиеся слова. Мысль о “конце” как желательной развязке, очевидно, крепко сидела в голове поэта. Действительно, к чему жизнь, если у него отняли все, чем он жил, если и в будущем не предвидится ничего лучшего. “Образцовый фрунтовик” – ведь это жесточайшее издевательство над всеми его заветными убеждениями. Как всякий отважный человек, он не страшится тягостей, выпавших на его долю, не ищет случая постыдно уклониться от них и не станет искусственно приближать “конец”; но он готов принять его как избавление от пустой и мучительной жизни. “А что, брат Тарас, – шутя сказал ему как-то один молодой офицер после учения, – ведь лучше было бы, если бы тебя опять послали на морскую службу или назначили в казаки?! Ведь служба на чайке или на коне больше вам, запорожцам-то, с руки, чем в пехоте!” “А еще лучше было бы мне или совсем не родиться, или умереть поскорее”, – отвечал на то, понутив голову, Тарас, и две крупные слезинки, вот как теперь вижу, – прибавляет рассказчик-очевидец, – так и скатились у него из глаз”.

Что же такое Новопетровское укрепление, в какие условия был там поставлен Шевченко, и среди какого общества ему пришлось жить?

Новопетровское укрепление во времена Шевченко представляло собой небольшой укрепленный пункт с девятью или десятью орудиями, расположенный на обрывистой известковой скале западной оконечности

полуострова Мангышлак, верстах в трех от берега Каспийского моря. Небольшая каменная церковь, комендантский дом, караульный дом, госпиталь и несколько каменных флигелей, в которых размещались нижние чины и офицеры, – вот и вся крепость, а около нее, под горой, несколько армянских лавок, кругом же – голая степь и ни признака растительности. “Песок да камень, – пишет Шевченко, – хоть бы травка, хоть бы деревцо – ничего нет!.. Смотришь, смотришь, да такая тебя тоска возьмет, просто хоть удавись, да удавиться нечем!..” А. Родзевич, недавно посетивший эту местность (Новопетровск с 1857 года переименован в Александровский форт), говорит, что “вечно дующий там северо-восточный ветер раздражает и приводит в болезненное состояние всю нервную систему”, “полутропическая жара приводит к близкому помешательству, а зимние стужи, при полной неприспособленности квартир, подвергают организм всякого рода простудным заболеваниям”.

Вот в эту-то пустыню и был прислан Шевченко, а в препроводительной бумаге говорилось: считать рядового Шевченко записанным в солдаты за политическое преступление и иметь за ним особый надзор: не позволять ему ни писать, ни рисовать, ни даже иметь при себе какие-либо письменные или рисовальные принадлежности.

“Поместили его в казарму, – рассказывает бывший его начальник (из доброжелательных), – приставили для надзора за ним особого дядьку из солдат, стали водить на фортовые работы, на *муштру*. Все это для Шевченко, хотя он был не из неженков и не из баловней, было тем тяжелее, что, на беду свою, он попался под начальство П-ва. Необразованный, несердечный... часто и неуместно грубый и строгий был этот человек... Донимал он Шевченко не тем, что не делал для него исключений или послаблений, о чем тот и не помышлял, а всякими мелочными да просто-таки ненужными придирками, – точно он будто бы посмеивался над человеком и без того уже терпящим. То бывало, ни с того ни с другого, начнет у него выворачивать карманы, чтобы посмотреть, нет ли у него там карандаша, либо чего писаного или рисованого. То станет издеваться над ним за не совсем громкий и солдатский ответ на вопрос или за опущенные при этом вниз глаза и т. п. Но больше всего он изводил Тараса требованием тонкой выправки, маршировки и ружейных приемов, которые составляли тогда идеал солдатского образования и которые Тарасу, при всем даже его старании, не давались никак!.. “Не постичь мне этой премудрости, – хочь тут ложись и помирай!” – с отчаянием говаривал бывало после учения бедняга сам неоднократно мне. Да и действительно, стоило только на учении взглянуть бывало на его фигуру под ружьем, чтобы вас разобрали и

смех, и горе! Ну, видимо, что человек совсем, как есть, не способен к тому!..” Вполне согласно с этим и Шевченко в “Дневнике” своем, вспоминая недавнее прошлое, пишет: “С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в броню и являлся перед лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и в заключение выслушать наставление о том, как должен вести себя бравый солдат: любить Бога и своих начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора”.

С 1853 года положение Шевченко значительно улучшилось. Ротного командира, задавшегося целью сделать из него “образцового фрунтовика”, перевели на другое место; его стали освобождать от тяжелых работ, даже от службы, и призывали только в экстренных и необходимых случаях. Поэт мог жить теперь вне казармы и целое лето проводил обыкновенно на огороде коменданта, у которого и обедал. Он устроил себе небольшую землянку, существующую до сих пор и известную под именем “домика Шевченко”. Этот домик в настоящее время служит дамской уборной при летнем помещении клуба. Тут же, подле землянки, сохранилось несколько фруктовых деревьев, посаженных поэтом. Мало-помалу с ним перезнакомилось и сошлось все офицерское общество, так что его сослуживец-земляк, солдат Обеременко, которого Шевченко долго не мог вызвать на разговор, говорил ему: “Я сам вижу, что мы свои, да не знаю, как к вам приступить; вы все то с офицерами, то с поляками”. Таким образом, самый тяжелый путь был пройден в первые два-три года пребывания в Новопетровском укреплении. Но что нашел Шевченко в обществе, переменявшем в конце концов отчужденность на приязнь и принявшем его как своего человека?

Это общество состояло человек из сорока-пятидесяти, считая не только всех офицеров с женами, но и купцов с чиновниками. “Днем бывало, – рассказывает бывший ротный командир Шевченко, – делаем учение, совершенствуя шагистику и ружистику, производим фортовые работы, а по вечерам собираемся больше по семейным домам, играем в шашки, лото, преферанс и ералаш... Иногда езжали на охоты... Певали по праздникам в церкви на клиросе; а то, когда у нас впоследствии составились из офицеров и солдат два маленькие оркестра, то случалось, что и танцевали и даже устраивали любительские спектакли в пустопорожней казарме...”

Народная мудрость гласит: “С волками жить, по-волчьи выть”. Хотя мы думаем, что наш читатель не разделяет этой мудрости, однако спросим, что действительно мог делать в этом обществе и с этим обществом

Шевченко, потерявший всякую связь с жизнью за пределами Новопетровского укрепления и лишенный даже возможности поддерживать деятельную корреспонденцию с бывшими приятелями. Он должен был или отстраниться от него, или “по-волчьи выть”; но отстраниться – это значило возвратиться в казарму, в продолжение еще пяти лет терпеть жестокую николаевскую муштру и в конце концов действительно превратиться в “образцового фрунтовика”, то есть в живую, двигающуюся по всем правилам искусства машину. И Шевченко вошел в общество и стал жить его жизнью. “Я уже докладывал вам, – продолжает свой рассказ бывший ротный командир, – что с 1852 года Шевченко стал все больше и больше вхож в наше маленькое общество, которое так наконец полюбило его, что без него не устраивало бывало уже ничего, – были то обед или ужин по какому-либо случаю, любительский спектакль, поездка на охоту, простое какое-либо сборище холостяков или певческий хор”. уж не хочет ли ротный командир сказать, что поэт стал душою общества, как то было некогда в Петербурге и в особенности на родине, среди земляков? Мы прекрасно понимаем, что Шевченко как чрезвычайно богато одаренный человек мог служить украшением любого общества. Но “душою общества”, как у нас принято выражаться, становится только тот, кто идет навстречу стремлениям и желаниям данного общества, кто лучше всего умеет удовлетворять интересы его. Чем жило Новопетровское общество, мы знаем. Итак, Шевченко разгоняет разговорами и рассказами скуку четырех дюжин мужчин и женщин, прозябающих на пустынном берегу Каспия непонятно зачем; а рассказывать он был мастер, когда чувствовал себя в духе. “И не нашему брату, простому офицеру, – замечает ротный, – было бы не только приятно, но, можно сказать, и пользительно послушать его”. “Редкий пикник, редкая прогулка, – читаем в другом воспоминании, – совершались без его участия, и в часы хорошего расположения духа не было конца его шуткам и остротам”. Он поет задушевным голосом украинские песни, мастерски танцует “трепака”, восхищает всех в роли Рисположенского и так далее. Правда, он в карты решительно не может играть, но зато в другом, не менее важном для новопетровского общества деле, выпивке, подвизается успешно; этот успех, – а он был также необходим, чтобы стать “душою”, – обошелся ему особенно дорого...

Новопетровские офицеры пили, как настоящие “мочеморды”, и требовали того же от своего сотоварища. “Раз, знаете, летом выхожу я, – рассказывает ротный, – часа в три ночи вздохнуть свежего воздуха. Только вдруг слышу пение. Надел я шашку, взял с собою дежурного да и пошел по направлению к офицерскому флигелю, откуда неслись голоса. И что же, вы



думаете, вижу? Четверо несут на плечах дверь, снятую с петель, на которой лежат два человека, покрытые шинелью, а остальные идут по сторонам и поют, точно хоронят кого. “Что это вы, господа, делаете?” – спрашиваю их. “Да вот, – говорят, – гулянка у нас была, на которой двое наших, Тарас да поручик Б., легли костями, – ну вот мы их и разносим по домам!..” Такие грандиозные “гулянки” устраивались, конечно, изредка, но это нисколько не мешало маленьким, когда человек находился, по выражению ротного командира, “под шефе”, быть, по-видимому, обычным времяпрепровождением.

Одни хотели сделать великого народного поэта “образцовым фрунтовином”, другие – “душой” своего общества, а в конце концов – пьяницей; но ни те, ни другие, не могли овладеть им всецело. Он до конца своей жизни остался тем, чем был на самом деле, а не чем желали его сделать. Но все эти покушения на его талант и личность не могли пройти бесследно; в борьбе с ними он растерял много душевных и физических сил.

Не всегда, однако, Шевченко готов был разделять досужее времяпрепровождение новопетровских обывателей. Находил и на него “худой стих”, как выражается бывший ротный командир. “Тогда хоть и не зови его, – говорит он. – Сидит себе хмурый-хмурый да молча рисует или лепит что-нибудь, а то, бывало, и просто так сидит, точно замерший, на месте, в каком-нибудь пустынном юру, да пригорюнившись, глядит куда-то вдаль...” Ясно, что дело вовсе не в “худом стихе”, а в том, что человек время от времени оглядывался на жизнь и ужасался. В письме к Брониславу Залескому (от 10 февраля 1855 года) Шевченко пишет: “Верись ли, мне иногда кажется, что я и кости свои здесь положу, иногда просто и одурь на меня находит, такая жгучая, ядовитая, сердечная боль, что я себе нигде места не нахожу, и чем далее, тем более эта отвратительная болезнь усиливается. И то сказать: видеть перед собой постоянно эти тупые и вдобавок пьяные головы, – человеку и более меня хладнокровному немудрено с ума сойти; и я, в самом деле, отчаиваюсь видеть когда-либо конец моим жестоким испытаниям”.

От “тупых и пьяных голов” Шевченко искал спасения в книгах, но они в Новопетровске были редкостью; впрочем, бывший ротный командир рассказывает, что общество в складчину выписывало “Русский инвалид”, “Пчелку”, “Отечественные записки” и “Современник”, но это относится, по-видимому, к последним годам пребывания Шевченко в Новопетровске, когда и в письмах его действительно встречаются ссылки на упомянутые журналы. Вообще же книг было очень мало, и поэт с жадностью накинудся на завалывшуюся у одного солдата “Эстетику” Либельта на польском языке.

Величайшую утеху для Шевченко составляли в это время письма от близких людей и приятелей. Но земляки и старые друзья были на этот счет не особенно щедры; отзывчивее оказались поляки, с которыми он сблизился еще в Орской крепости и которые получили свободу значительно раньше него. Шевченко деятельно переписывался с Залеским и при его содействии сбывал свою “шерстяную материю” (так назывались в переписке друзей рисунки). На деньги, выручаемые за эти рисунки, а также на изредка присылаемые ему суммы Шевченко и существовал в продолжение всей ссылки. В Новопетровске он стал еще выделывать из алебаstra статуэтки и разные фигуры. К этому искусству он впоследствии не возвращался.

Таким образом, за чтением, рисованием, лепкою изгнанник отдыхал несколько от впечатлений, получаемых среди “пьяных и тупых голов”. Но особенную отраду он находил в обществе детей. У коменданта Ускова были две девочки, и Шевченко, вообще очень любивший детей, скоро стал для них словно родной; дети называли его “дядя Горич”; он рассказывал им о своей дорогой родине, делал удочки, плел корзины, пел песни, наконец, обучал их грамоте. Он сблизился и с самим Усковым, в особенности ему нравилась на первых порах жена коменданта. “Эта прекраснейшая женщина, – пишет он Залескому, – для меня есть истинная благодать Божия. Это одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь даже до поэзии. Следовательно, я более или менее счастлив; да и можно ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной женщины?...” “Великая вещь, – пишет он несколько ниже, – сочувствие ко всему благородному и прекрасному в природе, и если это сочувствие разделяется с кем бы то ни было, то человек не может быть несчастлив...” Мы видим, как немного нужно было поэту: он “совершенно счастлив”, встретив в Новопетровской пустыне одного-единственного человека, сочувствовавшего (как ему, по крайней мере, казалось) “всему благородному и прекрасному”. Совершенно ясно, что дело здесь идет именно об этом общем сочувствии всему прекрасному и что о любви в более тесном смысле слова тут нет еще речи. В другом письме он уже прямо пишет: “Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благородной моей душой. Не допускай, друже мой, и тени чего-либо *порочного в непорочной любви моей*”. Да иначе трудно было бы понять, каким образом Шевченко мог бывать в доме Усковых изо дня в день в продолжение нескольких лет и сохранять со всей семьей хорошие отношения. Только под конец ссылки у них вышли некоторые недоразумения вследствие того, что комендантша имела неосторожность

попрекнуть его своими благодеяниями. “Я стряхнул прах от ног моих, – пишет он по этому поводу, – и повторяю слова великого флорентийского изгнанника:

Горек хлеб подаяния  
И жестки ступени чужого крыльца...

Происшествие неприятное, но я теперь себя чувствую гораздо спокойнее и свободнее, нежели под покровительством этих, в сущности, добрых людей”. Впрочем, уже несколько раньше он стал сомневаться в созданной им иллюзии: “А моя нравственная, моя единственная опора, – пишет он, – и та в настоящее время пошатнулась и вдруг сделалась пустой и безжизненной: картежница, ничего больше!”

Так протекала жизнь Шевченко в Новопетровском укреплении. Время шло и уносило лучшие годы. Шевченко как поэт изнывал в бездействии, а как человек он должен был напрягать все свои силы, чтобы отстоять самое жалкое существование. И силы, несомненные, громадные силы были растрчены без всякой пользы для общества и с большим вредом для его дарования. Будущее, казалось, не сулило также никаких перемен к лучшему. С восшествием на престол Александра II многие получили помилование, но эти милости не коснулись сначала Шевченко. “Я не знаю, что думать о моем упорном несчастье”, – пишет он в 1856 году Залескому и просит его обратиться к разным лицам с просьбою походатайствовать о нем. Первые попытки окончились, по-видимому, неудачно: “Каким родом, – пишет он все тому же Залескому, – могло быть предпочтено представление генерала представлению майора? Это для меня вопрос темнее безлунной ночи... В продолжение восьми лет, кажется, можно бы было приучить себя ко всем неудачам и несчастьям, – ничуть не бывало... Настоящее горе так страшно потрясло меня, что я едва владел собой. Я до сих пор еще не могу прийти в себя...”

“О Высочайших помилованиях по случаю коронации, – говорит он в другом письме, – у нас еще ничего не известно. Я не ласкаю себя ни малейшей надеждой. Чем и как я могу уничтожить предубеждение В. А. (В. А. Перовского. – *Авт.*)? Есть у меня на это оправдание, но я не смею привести его в исполнение. Необходимо, чтобы В. А. спросил у графа Орлова, на чей счет я воспитывался в Академии и за что мне запрещено рисовать? Словом, чтобы граф Орлов пояснил мою темную конфирмацию. Но кто легко расстается со своими предубеждениями?...” Дело приняло

сразу другой оборот, когда за хлопоты об освобождении поэта-художника взялась графиня Толстая и ее муж, бывший тогда вице-президентом Академии художеств. Эти добрые люди оказались достаточно влиятельными и энергичными; на ходатайство их обратили внимание, и было решено пересмотреть дело о рядовом солдате Шевченко. Уже в 1855 году некий художник Осипов по поручению графа Толстого писал нашему изгнаннику: “Граф Ф. П. Толстой поручил мне уведомить вас, что он искренно соболезнует о вашем несчастье и душевно рад употребить все зависящие от него средства для облегчения вашей участи, если только степень вашего преступления не будет неодолимым препятствием. Начало уже сделано”. Затем уже сама графиня пишет: “Тороплюсь отвечать вам (на письмо Шевченко к Осипову. – *Авт.*)... и просить вас принять в душу отрадную гостью-надежду... Веруйте же в лучшее будущее!..” Шевченко пишет ей отчаянные письма, умоляет спасти его, говорит, что еще один год, – и он погибнет. Но проходит целый год, поэт, конечно, не погибает, а графиня пишет ему все в том же тоне: “Все, что можно было сделать, сделано. Надеюсь в скором времени дать вам весть, а может быть, увидеться с вами лично, а до тех пор да не возмущается душа ваша безнадежностью!..” Друзья и земляки, вызывавшие справедливые нарекания со стороны Шевченко за молчание, теперь, когда ветер подул в благоприятную сторону, напомнили ему о своем существовании и своих чувствах письмами и присылкой денег. Наконец в 1857 году, в письме от 2 мая, Лазаревский сообщил ему великую весть о свободе. “Поздравляю тебя с великою царской милостью, – писал он. – По просьбе графини Толстой и по засвидетельствованию графа Толстого ты получаешь отставку и избираешь род жизни”. Но только 21 июля было получено официальное извещение о его освобождении, и после томительного ожидания и приготовлений, которые свелись к тому, что Шевченко запасся торбой сухарей, ветчиной, съеденной, впрочем, в ожидании, и жестяным чайником, он вырвался наконец 2 августа из Новопетровска и по пропуску, выданному комендантом, направился через Астрахань в Петербург. Он считал первым своим долгом лично засвидетельствовать Толстым горячее чувство благодарности и любви, заочно вызванное в нем их благородным заступничеством.

## ГЛАВА IV. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ССЫЛКИ (1857–1861)

*Поэзия и живопись. – Невольная задержка в Нижнем Новгороде, – Свидание с Щепкиным. – Пиунова. – В Петербурге. – Настроение. – Олдридж. – Бездеятельность. – У сестры. – Арест. – Трехнедельное пребывание в Киеве. – Снова в Петербурге. – Злоба дня: усадьба на берегу Днепра и невеста. – Освобождение родных от крепостной зависимости. – Второе издание “Кобзаря”. – Заботы о народном просвещении. – Букварь. – Смерть*

Двойное дарование Шевченко получило в личной его жизни совершенно особенное значение. Поэзия, как он сам говорит, довела его до подневольной солдатчины; искусство же, наоборот, вот уже второй раз высвобождало его из неволи, по крайней мере, так дело обстояло с формальной стороны. Первый раз оно вывело его из крепостной зависимости на дорогу свободной жизни и свободного творчества, а второй раз возвратило к свободной жизни в столице из десятилетнего и губительного во всех отношениях прозябания в прикаспийской пустыне. Мало того, поэзия, эта “бисова муза”, вечно угрожала ему возможностью новых и новых более или менее суровых испытаний. Казалось, чего бы проще: забыть эту поэзию, из-за которой приходилось столько страдать, и отдаться всецело искусству. Но в том-то и дело, что истинный поэт творит, потому что он не может не творить, он не сообразуется с тем, что сулит ему его вдохновенный стих, его песня – личное благополучие или страдание; он не может руководствоваться соображениями о пользе и удовольствии ни в узком, ни в широком смысле этих слов; он, можно сказать, исполняет свой долг, возвещая народу правду, и с одной только правдой он и может сообразовывать свои поступки. Шевченко был истинным поэтом, и поэтому-то он не мог отвернуться от своей музыки и обратиться к тому, что, по-видимому, обещало спокойное существование. И странно покажется нам, людям, не посвященным в тайны поэзии: поэт не только не сетует на свою музыку, но даже приветствует ее как свою “пречистую” и “святую” благодетельницу. “Мне ты повсюду помогала, – говорит он, – за мной ты повсюду присматривала. В степи, безлюдной степи, в далекой неволе ты сияла, красовалась, как цветочек в поле. Из грязной казармы ты выпорхнула чистой, святой пташечкой и полетела надо мною,

золотокрылая, запела и словно живую водою окропила мою душу. И я ожил, и горишь ты надо мною во всей своей Божьей красоте... Не оставляй же меня, – просит он, – ни днем, ни ночью и учи говорить чистыми устами правду...” И муза не оставила его. Напротив, как бы почувствовав обновление общественной жизни, которым ознаменованы наши шестидесятые годы, Шевченко пытается еще шире развернуть свой талант. Глубоко заблуждаются те, кто вместе с одним из его биографов находят, что “сила и мощь его великого таланта, развернувшегося вполне и достигшего своего апогея в первые два периода его поэтической деятельности, в последние годы жизни поэта заметно стали ослабевать”, что “поэт в последних своих стихотворениях выражается несмело, прибегая иногда к иносказанию”, и так далее. Если Тургенев и говорит нечто подобное на основании некоторых стихотворений, читанных самим поэтом в петербургских кружках, то всякий, кто действительно знаком со всеми произведениями Шевченко, а не случайно слышанными, отвергнет это свидетельство знаменитого беллетриста.

Возвратимся, однако, к Шевченко. Он направлялся теперь в Петербург, чтобы заняться при Академии художеств гравированием. О своем художественном таланте он был не особенно высокого мнения. “Живописцем-творцом я не могу быть, – читаем мы в черновом наброске письма к графу Толстому в “Дневнике”, – об этом счастье неразумно было бы помышлять; но я по приезде в Академию, с Божьей помощью и с помощью добрых и просвещенных людей, буду гравером *à l'aqua tinta* и, уповая на милость и помощь Божью и на ваши советы и покровительство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного искусства, распространять посредством гравюры славу славных художников, распространять в обществе вкус и любовь к доброму и прекрасному”.

На пути в столицу Шевченко встретил, однако, неожиданные препятствия. Из Астрахани он поплыл по Волге, воспользовавшись приглашением своего старого знакомого, а теперь астраханского богача Сапожникова совершить вместе с ним эту поездку. Они отправились на специально абонированном Сапожниковым пароходе в тесном кругу лиц, сопровождавших последнего. Но по приезде в Нижний Шевченко было объявлено, что дальше ехать он не может и что ему придется даже отправиться назад, в Уральск, за получением своей отставки, а оттуда в Оренбург. Дело в том, что Шевченко получал свободу на первых порах ограниченную: он не мог жить ни в Москве, ни в Петербурге и впредь до разрешения возвратиться на родину обязывался проживать в Оренбурге. Комендант Новопетровского укрепления не знал о существовании такого

документа и потому выдал Шевченко свидетельство на проезд прямо в Петербург, а узнав, в чем дело, и опасаясь строгого взыскания со стороны своего начальства, забил тревогу. Он разослал во все значительные пункты по пути из Астрахани в Петербург бумагу о задержании Шевченко и препровождении его в Уральск. Вот такую-то бумагу и прочел ему теперь нижегородский полицеймейстер. Нечего и говорить, как она поразила поэта. Благодаря, однако, снисходительному отношению нижегородской администрации и ходатайствам знакомых он был оставлен по болезни в Нижнем Новгороде и здесь ожидал результатов хлопот, предпринятых графиней Толстой. В Нижнем у Шевченко скоро образовался довольно обширный круг знакомых, в обществе которых он и проводил большую часть времени; одновременно он занялся чтением: пробелов тут оказалась масса; рисовал портреты по заказу и разные нижегородские достопримечательности; поэзия также не оставалась в загоне; здесь были написаны, между прочим, “Неофиты”, посвященные М. С. Щепкину, к которому он питал самое нежное чувство дружбы. Легко представить себе поэтому радость нашего поэта, когда Щепкин написал, что хочет навестить его в Нижнем. 21 декабря 1857 года Шевченко отмечает в “Дневнике”: “Сегодня получил письмо от М. С. Щепкина. Он сегодня выехал из Москвы, и послезавтра я обниму моего старого, моего искреннего друга. Как я счастлив этой нелицемерной дружбой! Не многим из нас Бог посылает такую полную радость, и весьма немногие из людей, дожив до семидесяти лет, сохранили такую поэтическую свежесть сердца, как М. С., счастливый патриарх и артист...” 24-го декабря: “Праздников праздник и торжество из торжеств! В три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин!...” 29-го декабря: “В 12 часов ночи уехал от меня М.С. Щепкин... Шесть дней, шесть дней полной радостно-торжественной жизни...” 30-го декабря: “Я все еще не могу придти в нормальное состояние от волшебного очаровательного видения... Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко улыбающийся, друг мой единый, искренний мой незабвенный Михайло Семенович Щепкин...” Именно величие человеческой души во всей ее простоте и непосредственности пленяло поэта, и он покорно, как любящий сын, выслушивал наставления старика. “Погано, дуже погано, – говорил ему последний, – ты, кажут, дуже кутнув... Никакая пощечина меня бы так не оскорбила... Не набрасывай этого на свою натуру и характер...” “За дело, за дело”, – подбодрял он Тараса Григорьевича. И кто знает, какая бы развилась в нем сила, если бы вместо всевозможного рода “мочеморд”, с которыми судьба его сводила так часто, он пожил подольше в обществе Щепкина и ему подобных людей.

На досуге в Нижнем Шевченко увлекся одной молодой девушкой, Пиуновой, начинающей тогда актрисой. В дневнике от 11 января 1858 года читаем: "...я вскоре вспомнил, что я один из счастливцев мира сего. М. С. Щепкин, уезжая из Нижнего, просил полюбить его милую П-ву, и я буквально исполнил его дружескую просьбу..." Пиуновой было всего лишь 16 лет. Шевченко часто бывал в доме ее отца; доставал книги для молодой девушки, знакомил ее с хорошими людьми, восхвалял даже ее игру в газете и так далее. Он, по-видимому, искренно увлекался, тогда как ее "пугала его внешность: сапоги, смазанные дегтем, длиннополая чуйка и большая лысина на макушке..." Однажды Шевченко приехал к Пиуновым "сосредоточенный и серьезный". Она собиралась уходить... "Погодь, дивчино, вернись!" – сказал ей поэт. "Пустите, мне надо на репетицию", – спешила она увильнуть. "Серденько мое, погодь!" Девушка вернулась в комнату, где сидел и отец ее. "От и батько", – сказал Шевченко и попросил позвать "матирь". По просьбе его все сели. "Адже вот товар, а вот купец, – сказал он, указывая на девушку и на себя, – батько и маты, отдайте іі мени!" Мать старалась знаками выпроводить дочку из комнаты, и та бегом бросилась вон из дому, крича: "Мне некогда, меня лошадь ждет, спешу на репетицию..." Так кончилась первая серьезная попытка Шевченко жениться; их будет еще несколько; но всякий раз мысль о женитьбе улыбалась ему только издали, а при соприкосновении с действительностью рассеивалась, как мираж. После отказа Пиуновой Шевченко затосковал. "Я совершенно не гожусь для роли любовника, – пишет он в дневнике. – Она, вероятно, приняла меня за помешанного или просто за пьяного и, вдобавок, за мерзавца... Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье и что я не пошлый театральный любовник, а искренний, глубокосердечный ее друг!.." Он ищет встречи с нею, посылает ей книги; но она видимо избегает его, а книги посылает обратно, не читая. "Я вас люблю, – пишет он ей по поводу этого последнего обстоятельства, – и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтоб требовать от меня пылких изъяснений в любви; я слишком люблю и уважаю вас, чтоб употреблять в дело пошлости, так принятые в свете. Сделаться вашим мужем – для меня величайшее счастье, и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастье не понравиться вам, и если возвращенные мне вами книги выражают отказ, то нечего делать: я должен покориться обстоятельствам..." И Шевченко покорился обстоятельствам, хотя и не без протеста, выразившегося в кутеже. Скоро он, однако, успокоился; у него "все как рукой сняло". Его поразило, что Пиунова, об устройстве которой на харьковской сцене он



хлопотал вместе с Щепкиным, не дождавшись ответа, заключила контракт с нижегородским антрепренером. После этого пассажа у него не хватило духу даже поклониться при встрече своей “любый дивчини”. “Я скорее простил бы ей, – говорит он, – самое бойкое качество (не опечатка ли: кокетство? – *Авт.*), нежели эту мелкую несостоятельность, которая меня, а главное, моего старого знаменитого друга поставила в самое неприличное положение”.

Шевченко начинал уже тяготиться своим пребыванием в Нижнем. “Боже мой, – читаем в дневнике, – как бы мне хотелось вырваться из этой тухлой грязи!” Это он писал 11 февраля, а 25-го получил из Петербурга известие, что ему разрешается проживать в столице и заниматься в Академии художеств. “Приезжайте скорее, – писала ему графиня Толстая, – не могу больше писать: руки дрожат от нетерпения и радости...” С таким нетерпением ожидала поэта незнакомая еще ему заступница. Что же сказать о земляках, друзьях и бывших товарищах по ссылке, людях, слышавших о поэте, и так далее. Все они встретили в высшей степени радушно и восторженно возвратившегося изгнанника. Они знакомят его с массой новых личностей, осаждают приглашениями, угощают лукулловскими обедами – одним словом, овладевают им всецело. “Боюсь, – говорит он, – как бы мне не сделаться модной фигурой...” В душе он теперь менее чем когда-либо был склонен разыгрывать “льва” новомодных либеральных гостиных. Конечно, встречались и там люди прекрасные, достойные, и с ними случалось ему заговариваться до глубокой ночи; но в общем он чувствовал себя тоскливо и скверно. Годы, предшествовавшие освобождению крестьян, отличались большим оживлением. Повсюду в интеллигентных кружках велись горячие прения о предстоявшей реформе, об обновлении всей жизни, о великих задачах и так далее. На человека с разбитой нервной системой, у которого самый малейший повод, в особенности если дело касалось положения крестьян, вызывал чрезвычайное волнение и даже слезы, все подобные разговоры должны были оказывать раздражающее действие. Кроме того, Шевченко не мог уже на разговорные восторги отвечать восторгами. Он слишком много пережил для этого. Его душу мог бы умиротворить несколько только самый факт 19 февраля 1861 года. Поэтому-то, окунувшись в эту новую петербургскую жизнь, он больше протестует, смеется и даже негодует, чем ликует. Вот он в мастерской одного художника, среди колоссальных статуй, приготовляемых для памятника тысячелетию России. Здесь идут горячие споры о достоинствах и недостатках разных исторических лиц. Шевченко, вначале сдержанный и тактичный в своих речах, начинает с обострением спора все

больше и больше волноваться; он нервно ходит взад и вперед, мрачно поводя из-под густых бровей своими светлыми глазами. Наконец уставшая от прений компания “почтенных” людей расходится; тогда он выступает со своими протестами, сначала лаконичными, отрывочными и циничными, но которые чем далее, тем становятся горячее, стройнее, пламеннее... “Много было в его речах преувеличений и желчи, – говорит в своих “Воспоминаниях” один художник, – но возражать ему в такие минуты было невозможно...” Наконец ему, по-видимому, надоедали все эти гостиные, мастерские и так далее, где “почтенные” люди да случайно зазванные литераторы занимались прениями, и он отправлялся в трактирчик около биржи. Здесь, в обществе иностранцев-матросов, “тихий и кроткий” Шевченко приходил в страшно возбужденное состояние, бранил все, и старое и новое, и со всего размаху колотил кулаком по столу.

Обратите также внимание на знакомство Шевченко с известным в то время трагиком Олдриджем. Словно бурный вихрь вырывается из сердца поэта при встрече действительно родственной души. Они познакомились у Толстых. Час спустя между ними завязалась самая трогательная дружба; они сидели в углу на диванчике или ходили, обнявшись, по зале; любопытно при этом, что Шевченко не говорил ни слова по-английски и вообще не объяснялся ни на одном из иностранных языков, а Олдридж не знал по-русски. Между тем они бывали друг у друга и обходились без переводчика. Игра знаменитого артиста приводила поэта в какой-то исступленный восторг; с одним из своих приятелей он поднимал в театре такую возню, гам и крики, что не только обращал общее внимание и вызывал протесты публики, но однажды заставил даже даму, пригласившую их к себе в ложу, искать спасения в бегстве. Или, например, по окончании спектакля в уборной трагика можно было созерцать такую картину: “В широком кресле, развалясь от усталости, полулежал “король Лир”, а на нем, буквально на нем находился Тарас Григорьевич; слезы градом сыпались из его глаз; отрывочные, страстные слова ругани и ласки сдавленным громким шепотом произносил он, покрывая поцелуями раскрашенное масляною краскою лицо, руки и плечи великого актера...”

Шевченко ехал в Петербург с твердым намерением заняться гравюрой, но, как видно из “Дневника”, дело шло не особенно успешно вследствие постоянных отвлечений от работы. Что же касается поэзии, то и ею Шевченко занимался немного. “Собственно поэтический элемент, – говорит Тургенев об этом времени, – в нем проявлялся редко. Шевченко производил скорее впечатление грубоватого, закаленного, обтерпевшегося человека с запасом горечи на дне души, трудно доступной чужому глазу, с

непродолжительными просветами добродушия и вспышками веселости. Теперь чаще в нем начали проявляться приливы чудачества и кутежа”. Затем, малую производительность творческого гения и безалаберную жизнь поэта Тургенев приписывает отчасти тому обстоятельству, что хотя он и “успел стать в уровень с новыми идеями, но пробелов в его образовании оставалось все-таки очень много...” Мы не понимаем, при чем тут, собственно, образование. Достаточно вспомнить о десяти убийственных годах, растраченных поистине ужасающим образом нашим народным поэтом в солдатской шинели, чтобы объяснить себе и малую производительность его творческого гения, и безалаберную жизнь, и многое другое. Наконец, в одном стихотворении поэт сам говорит, что дело вовсе не в его якобы болезни – и не в его малообразованности, прибавим мы, – а в том, что глаз его что-то такое видит, а сердце ждет, болит и плачет, и не спит, словно некормленное дитя. Вероятно, оно ждет чего-то недоброго, тяжелого. “Добра не жди!” – восклицает поэт затем...

Таким образом, никакое дело у Шевченко не спорилось, а время уходило. Наконец весной 1859 года ему удалось вырваться из Петербурга. Он отправляется на родину и проводит несколько дней у сестры Ирины и братьев. Давно они не видались. У него промелькнули в памяти томительные годы одиночества, тоски, унижения и тяжелых лишений. А как же жила в это время она, его любимая сестра? “Рассказывай, сестра!” И вот начинается длинный, скорбный рассказ крепостной крестьянки про свою бесталанную судьбу. А он, положивши голову к ней на колени, слушает и время от времени прерывает ее словами: “Эге ж! Так, сестро, так!” Так, именно так он представлял себе все, когда думал о ее горькой доле. “Наплакалась я вволю, – рассказывала потом Ирина, – пока не договорила до конца, – как умер мой муж”. Тут Шевченко поднялся, посмотрел на небо, перекрестился и сказал: “Молись, сестро, молись! И ты свободная, и я свободен!” (У Ирины муж был пьяница). Рассказ терзал сердце: Ирина, как и братья поэта, все еще оставалась крепостной, и барщинный труд отягощал ее и без того нелегкое существование. В прекрасном стихотворении, посвященном сестре, вылилось это горькое чувство, выросшее из осознания контраста между тем, что могло бы быть и что было на самом деле. И как немного нужно поэту! Он рисует, как сестра его спокойно отдыхает “у темному садочку, пид вишнею, у холодочку” и высматривает его, брата, а он плывет к ней в челне по Днепру. “Мій братику! Моя ты доле!” – кричит она ему. Но, увы, “мы проснулись, – говорит поэт, – ты на панщине, а я в неволе!..” И действительно, поэт скоро снова попал в неволю, а само стихотворение “Сестра” написано во время

этого кратковременного ареста. Вот как это случилось. От сестры Шевченко, измученный всем виденным и слышанным, поехал к родственнику, Варфоломею Шевченко, чтобы у него, в простой и не раздирающей душу обстановке отдохнуть нравственно. Поэт прожил у названного брата около двух месяцев, предпринимая лишь по временам поездки с целью отыскать подходящее место для усадьбы, так как в это время он серьезно уже решил устроить собственное гнездо на берегу Днепра. За Шевченко, как за находившимся под надзором, приказано было, конечно, следить; а между тем он не особенно осторожничал в своих речах. На него скоро донесли, что он непочтительно отзывается о монахах или о полиции, что-то в этом роде, и полиция стала его разыскивать. Узнав случайно, что Шевченко находится у Максимовича на Михайловой горе, становой пристав отправился туда. Он приехал во время обеда и “хотел тотчас же арестовать поэта, не давши ему докончить обеда, но хозяин упросил его обождать, пока гость от него уйдет. “Чтобы не у меня в доме”, – шептал он приставу в передней”. Добржинский (пристав) ушел и поджидал поэта у Днепра. Едва Шевченко успел отплыть на несколько сажен от берега, как становой арестовал его, пересадил в свой дуб<sup>[18]</sup> и отвез в становую квартиру... Затем его представили на допрос к жандармскому офицеру. “Про вас говорят, что вы богохульствуете”, – спрашивает тот. “Может быть и говорят, – отвечает Шевченко, – относительно меня можно всякую всячину плести, так как я человек *патентованный*, а вот про вас, верно, ничего не говорят...” В конце концов его повезли к генерал-губернатору в Киев. Выслушав объяснение Шевченко, генерал-губернатор князь Васильчиков велел освободить поэта из-под ареста. “Поезжайте отсюда скорее в Петербург, – сказал ему князь, – там, стало, люди более развитые и не придираются к мелочам”. Вместе с тем он позволил ему пробывать в Киеве, сколько будет нужно.

Интересны и характерны некоторые подробности трехнедельного пребывания поэта в Киеве. От генерал-губернатора он прямо отправился разыскивать себе квартиру (он не ищет уже “своих друзей”). И вот на Преварке приглянулась ему одна “хата”, белая как сметана, садочком обросшая, а на дворе сушатся детские рубахи, “рукавами помахивают, словно к себе зазывают”. Такую именно хату ему и нужно. У него нет ни копейки денег, и он просит хозяйку держать и кормить его в долг. “Кто же вы такой?” – спрашивает та. “Человек себе, как видите”, – отвечает невозмутимо поэт. Хозяйка, пораженная, вероятно, такой откровенностью, приняла его. Скоро она, конечно, узнала, кем был ее случайный квартирант. Он вел здесь, можно сказать, самый примитивный образ жизни. Вставал в

четыре часа утра, чтоб послушать, как птички прощепечут свой первый привет летнему утру, а в роскошные украинские ночи ходил иногда до зари по двору: его не пускали в комнату “неисчисленные зироньки<sup>[19]</sup>”... Умывался на дворе, вытянувши собственноручно из колодца ведро свежей воды... Ел самую простую пищу, а после обеда ложился под яблоней и сзывал детей “на розмову<sup>[20]</sup>”. Как только он засыпал, дети, по условию, должны были тихо удалиться. А раз, созвав с полсотни ребятишек, он устроил целый пир на деньги, случайно найденные в грязном белье и за обертками книг. Хотя он жил в это время в долг, но “дурным грошам”, решил он, должна быть и “дурна дорога”. И устроил детское пирование на славу: закупил массу лакомств, прибрал двор, засыпал свежей травой и стал забавляться со своими гостями. Вероятно, у него никогда не собиралось так много и таких веселых гостей... Наконец хозяйка выпроводила их со двора; захвативши с собою целый воз яблок, груш, пряников, бубликов и прочего, они перебрались на выгон. Здесь Шевченко почувствовал себя еще свободнее: он бегал, суетился, хохотал, дурачился, а взрослые соседи, глядя со стороны, говорили: “Этот старый, вероятно, того... вероятно, немного не в своем уме...” Но самое любопытное во всем этом житье поэта в Киеве то, что ближайшие люди не видели его здесь *ни разу пьяным*. Может быть, об этом последнем обстоятельстве совсем не следовало бы упоминать, так как ни произведения Шевченко, ни его отношения к людям не носят на себе ни малейшего отпечатка его губельного пристрастия; само же по себе оно находит полное объяснение в его злополучной жизни. “Муза Шевченко, – говорит Костомаров, – не принимала на себя ни разу печальных следствий, расстраивавших телесный организм поэта; она всегда оставалась чистою, благородною, любила народ, скорбела вместе с ним о его страданиях и никогда не грешила неправдою и безнравственностью”. К сожалению, многочисленные “друзья”, напававшие его при жизни, не оставили в покое и его многострадальной тени: они в своих сочинениях, воспоминаниях, речах и т. п. точно с каким-то удовольствием отмечают факты его нетрезвого поведения; один из них и на могиле поэта не постыдился напомнить, что покойный “горилкою впывався дуже”, а другой называет даже саму музу его пьяною. Неразборчивые же биографы все валят в одну кучу. Так, читая одну из наиболее подробных биографий, вы положительно недоумеваете, зачем это автору понадобилась вся эта коллекция фактов, позорящих, в конце концов, вовсе не поэта, так как образ его все-таки остается чистым даже по мнению того же биографа, а самих коллекционеров, выдающих

свои вкусы. Это-то обстоятельство и заставляет нас говорить о злополучном пороке Шевченко. Итак, в простой обстановке, на природе и среди детей его не видят пьяным; но тот же Шевченко предается излишествам не только среди записных “мочеморд”, но даже и в кругу своих интеллигентных петербургских, киевских и иных знакомых и друзей... Мы думаем, что ларчик просто открывался: если исключить отдельных интеллигентных людей, Шевченко и в этом “избранном” кругу было “нудно”, как выражаются малороссы. И нередко он, вероятно, уходил из гостиной господ Максимовичей e tutti quanti<sup>[21]</sup> в дворницкую или в крестьянскую хату. Ужасающий контраст не мог не поражать его, и он не находил исхода своим чувствам и мыслям... А люди гостиной говорили: закутил наш “любый” поэт.

Получив деньги, Шевченко рассчитался с хозяйкой и отправился в Петербург. Но Петербург теперь уже не прельщал его. Он просто следовал благоразумному совету, который дал ему генерал-губернатор. Приехав же, он начал тосковать и рваться на родину. Поэту было уже 45 лет. Он, вечный скиталец, устал. Он искал теперь покоя и приюта, в котором так долго отказывала ему судьба. Признанный певец своего народа, смешно сказать, не знал, куда ему голову преклонить! Его приютила Академия художеств, где он, точно на биваках, расположился на антресолях. Но ведь не вечный же это был приют. Наконец, вести постоянно бивачную жизнь тяжело человеку и не его лет. А затем эти гостиные, эти разговоры, праздные разговоры, эта вечная суতোлка. И в результате – приступы, опасные и вместе с тем роковые в данных обстоятельствах приступы разгула. Все это становилось невыносимым... Долго поэт искал своей доли и в этих поисках блуждал, боролся и страдал в лабиринтах русской культурной жизни; обследовав ее вдоль и поперек, он наконец нашел выход: он оставит шумный свет, он возвратится туда, откуда пришел; там, на берегу Днепра, он построит себе хату и будет жить среди своего народа. Конечно, он и там будет продолжать делать свое дело, петь чудные песни и будить уснувшую мысль. Жизнь с народом возвратит ему прежнюю силу и бодрость, а расширенная тяжким опытом и усиленной работой мысль еще глубже проникнет в существо народной жизни. Вообще решение поэта переселиться на берег Днепра и жить среди народа мы должны приветствовать как в высшей степени благодетельный поворот в его жизни.

Он устал, говорят нам. Было от чего, ответим мы. Но тяжкие испытания не лишили его творческой силы и способности “глаголом жечь сердца людей”... И кто знает, какие бы песни мы слышали из уст его, если б ему довелось осуществить свою мечту и пожить в своей хате над

Днепром... “Слава мне не помогает, – пишет он Варфоломею Шевченко, – и если, думается мне, я не заведу собственного очага, то она меня и в другой раз погонит туда, куда Макар телят гоняет пасть. Так или иначе, а необходимо же куда-нибудь приклониться. В Петербурге я не высижу: он меня задавит. Тоска такая, что пусть Бог хранит от нее всякого крещеного и некрещеного человека...” И он торопит своего друга с покупкою места под усадьбу. После нескольких неудачных осмотров и попыток купить они выбрали, наконец, место возле Канева, на правом берегу Днепра.

“Там, на высокой горе, – пишет ему Варфоломей Шевченко, – есть лесочек, посреди того лесочка – полянка; далеконько от города; внизу несколько рыбацких хат. На горе очень много диких яблонь и груш; можно будет садик развести. “Любый староденный Днипро” будет казаться тебе под самыми ногами. Криничная вода недалеко, а рыба каждое утро будет свежая, так как рыболовы будут ее возить мимо твоего порога...” Такая идиллия ожидала Шевченко, и она, казалось, близилась к осуществлению. Скоро над этой горой действительно был водружен крест, но не тот, который ставят плотники при постройках, а печальный могильный крест...

Но одинокая бобыльская жизнь, даже в хате над Днепром, не могла особенно привлекать Шевченко; он не вынес бы одиночества. Отсюда понятны настойчивость и торопливость, с какими он хочет во что бы то ни стало “сдружиться”. Он ищет, очевидно, уже не жену и подругу, а просто хозяйку; поэтому-то и неудачи не особенно задевают его. Начинает он с Хариты, крепостной девушки, служившей по найму у Варфоломея Шевченко; он спрашивает в письме, не сватает ли ее кто, и просит Варфоломея, если нет, чтобы он выпытал, не пойдет ли она за него замуж. Приятель был озадачен таким выбором и пытался убедить поэта, что Харита ему не пара. “Человек ты письменный, – пишет он, – дело твое такое, что, живучи над Днепром в одиночестве, только с женою, ты почувствуешь когда-нибудь, может быть, надобность похвалиться перед женою, что вот тебе пришла такая-то мысль, что вот что ты написал, да и захочешь прочесть ей. Что же тебе скажет Харита?... Тогда ты еще больше затоскуешь. Или если Бог даст деток, кто же покажет им дорогу?...” На это поэт отвечает: “Твои рассуждения хороши, спасибо тебе! Ты только забыл одно: я *по плоти и духу сын и родной брат нашего бесталанного народа*, так как же я могу соединиться с... панскою кровью? Да и что такое образованная барышня будет делать в моей мужичьей хате... Мать – при всяких условиях мать: если она любящая и разумная, то и дети выйдут в люди; если же она хотя бы и образованная, но лишена разума и сердца, то и дитя вырастет негодяем, все равно как в шинке...” Он действительно и не в

одном письме просит друга, чтобы тот устроил дело в его пользу, а иначе угрожает жениться на такой “шерепи”, что и ему стыдно станет. Однако Харита заупрямилась; она считала Шевченко за пана и боялась, что тот хотя и выкупит ее, чтобы жениться, но затем закрепостит на весь век. Поэтому Хариту пришлось оставить, хотя и не без сожаления; поэт просит высмотреть для него другую дивчину, даже вдову, лишь бы “честного роду”. И не одному только названому брату он дает такие поручения. Раньше он о том же просил жену Максимовича. “Жените, – просит он ее, – будьте так добры. А то, если не жените, то и сам Бог не женит, так и пропаду бурлаком на чужой стороне...” Наконец сам поэт встретил у знакомых в Петербурге одну девушку: хохлушку, крепачку и сироту, то есть именно то, что ему было нужно, – и остановил на ней свой выбор. Лукерья, так звали ее, была очень миловидной девушкой, но ленивой, неряшливой и необыкновенно ветреной. Ей не нравился Шевченко, “старый та сердитый”, но она готова была выйти за него замуж, потому что считала его богачом. Шевченко объявил ее громогласно своей невестой, возил даже к графине Толстой, поместил на отдельной квартире, причем “господа” боялись отпустить девушку, и он, присевши к столу, тут же написал экспромтом стихотворение:

Моя ты любо! Мій ты друже!  
Не й муть нам виры без хреста,  
Не й муть нам виры без попа,  
Рабы, невольныкы недужи!

Он стал обшивать ее и дарил ей разные подарки. Однако недолго продолжалось это увлечение. Неряшливость Лукерьи страшно бесила его и привела в конце концов к полному разрыву. Эта неудавшаяся женитьба закончилась следующим трагикомическим объяснением в присутствии посторонних лиц. “Лукеро, – говорит поэт, – скажи правду, обращался ли я когда-нибудь с тобою вольно?” – “Нет”, – тихо отвечает та, потупившись. “А может быть я сказал тебе когда какое-нибудь неприличное слово?” – “Нет”. Тогда он вдруг поднял кверху обе руки, затопал ногами и не своим голосом, в исступлении закричал: “Так убирайся же ты от меня!.. Иначе я задавлю тебя!..” Лукерья стрелой вылетела из комнаты. Поэт, однако, не примирился со своими неудачами и до самой смерти, по-видимому, продолжал разыскивать себе невесту. Много успешнее шли его хлопоты по освобождению родных братьев и сестры из крепостной зависимости. Как



мучило поэта их положение, видно из заключительных слов его “Автобиографии”. “И что же я купил у судьбы своими усилиями не погибнуть, – говорит он. – Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор крепостные. Да, милостивый государь, – обращается он не только к редактору “Народного чтения”, где помещена была эта “Автобиография”, но к каждому читателю, – они до сих пор крепостные!” Мысль об их освобождении не покидает его даже накануне всеобщей “воли”. Может быть, он опасался, что они будут отпущены на волю без земли. Впрочем, и помимо этого всякая минута, проведенная родными на панщине, всякий час подневольной жизни, очень легко, как он хорошо знал, превращавшийся в несчастье целой жизни, мучили его, и он спешил высвободить их. План освобождения обсуждался сначала поэтом с Варфоломеем Шевченко. Помещик соглашался отпустить крепостных, но без земли и с тем условием, чтобы получившие вольную немедленно выселились из его владений. Шевченко предупреждал родных, чтобы они не соблазнялись такой свободой, и предлагал помещику заплатить по 85 рублей за душу с земельным наделом; тот не согласился. Дело изменилось, когда в нем приняло формальное участие “Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым”, и Шевченко получили свободу еще при жизни поэта, за несколько месяцев до обнародования манифеста 19 февраля.

Но не одни только личные и семейные дела занимали поэта в эти последние годы его жизни. Еще раньше он задумал второе издание “Кобзаря” с присоединением “Гайдамаков” и других стихотворений, написанных позже; он хотел выпустить эту книгу под общим названием “Поэзия Т. Шевченко”. Не находилось только подходящего издателя. Во время же поездки в Малороссию он посетил сахарный завод Яхненко и Симиренко, и здесь Симиренко предложил ему материальную поддержку. Согласно обещанию, он выслал поэту в Петербург 1100 рублей на издание с тем, чтобы ему было прислано соответствующее число экземпляров книги. Много было хлопот с цензурой; стихотворения пересылались из главного управления в комитет несколько раз, и дело затянулось бы, вероятно, надолго, если бы Шевченко не обратился к министру народного просвещения Ковалевскому, который и разрешил печатание предоставленной ему властью.

Новое издание “Кобзаря”, хотя далеко не полное, было встречено малороссами с восторгом. Так, г-н Кулиш писал Шевченко из Полтавы, что

там не только люди интеллигентные, “а всяка душа письменна и щира” носится с его “Кобзарем” как с какой-нибудь драгоценностью, но что, впрочем, полтавцам скоро не нужна будет эта книга, так как они выучат все стихи на память; да чуть ли не по “Кобзарю” они и Богу молятся, замечает он. На этот раз и столичная критика в лице своих лучших представителей отнеслась сочувственно к Шевченко. Она уже признавала за малороссами право и способность говорить на родном языке, а на стихотворения украинского поэта указывала как на интересные “не для одних только страстных приверженцев малороссийской литературы, но и для всякого любителя истинной поэзии”.

Покончив с изданием “Кобзаря”, Шевченко приступил к новому и огромному делу, которое могло бы наполнить многие годы его жизни. Когда идея об освобождении крестьян была разработана литературою в пределах предоставленной ей возможности, и само освобождение должно было совершиться не сегодня-завтра, то естественно, что мысль лучших людей занялась другим первостепенной важности вопросом – просвещением народа. Сегодняшнему крепостному, живущему по указке своего господина, завтра придется жить своим умом; важно и необходимо не только для него лично, но и для всего общества, чтобы он устроил свою жизнь добропорядочно, осмысленно, вообще разумно. Но возможно ли это, если свободный народ будет пребывать в таком же мраке невежества, как и в эпоху своего закрепощения? Конечно нет. Необходимо заняться распространением грамотности и знаний. В ту пору это дело было еще совершенно новым, и непочатая нива народного просвещения казалась просто беспредельной. Но и увлечение, и энергия проснувшегося общества были также немалы. В разных местах по селам и городам начали возникать школы. Тут-то и открылся новый пробел: не оказалось не только народной литературы, но даже букварей, приспособленных для народных школ. Шевченко задолго еще до этого порыва, охватившего русское общество, прекрасно сознавал и понимал настоятельную необходимость для народа образования. Читатель не забыл, вероятно, что еще в глухие сороковые годы он обсуждал вместе с киевскими приятелями разные планы по части освобождения и просвещения народа. Но тогда дело дальше разговоров не пошло. Теперь было другое время. Еще в Нижнем Новгороде, на пути из ссылки в Петербург, Шевченко получил письмо от Костомарова, в котором наш известный историк между прочим говорит, что настало время проснуться нашему народу и начать действовать своим разумом. В царском рескрипте, продолжает он, сказано, что следует открывать повсюду школы и заботиться о просвещении народа, и мы должны воспользоваться этой

царской милостью: нужно заводить Школы по деревням и обучать детей, а для этого нужно то, по чему учиться. “А то теперь всякий станет насмехаться над нами: вот, скажет, писали, писали и повести, и комедии, и романы, а самое главное забыли... Теперь нам нужна своя грамматика, краткая естественная история, краткая география да космография, да книжки о законах, приуроченные для народа...” А Кулиш в это же время предлагал Шевченко заняться рисованием картин для народа из истории Малороссии с подписями из его дум или для этой цели составленными; сам же брался отпечатать их и пустить в продажу по дешевой цене. Но Шевченко тогда сам находился на перепутье и не знал, куда еще вынесет его житейская волна. Только побывав на родине и возвратившись в Петербург, он снова обращается к своему давнишнему намерению принять непосредственное участие в распространении грамотности среди народа. Составленный им малорусский букварь представляет первую его попытку в этом направлении. Затем он задумал написать, также на малорусском языке, арифметику, этнографию с географией и историю для народа. “Если бы Бог помог мне, – говорит он в письме к Чалому, – сделать это маленькое дело, то большое сделалось бы само собою...”

Но эти начинания остались неоконченными. С конца 1860 года поэт стал серьезно недомогать. Он не мог уже лично принимать участие в собраниях по поводу нового журнала “Основа”, посвященного интересам южнорусской жизни, хотя издание такого журнала составляло его давнишнюю мечту. Доктора констатировали водянку и советовали ему беречься. Он безвыходно сидел дома. 2 января 1861 года он с трудом уже мог написать письмо Варфоломею. “Утомился, – говорит Шевченко, – словно копну ржи за одним заходом смолотил”. Болезнь быстро развивалась, бросилась на грудь, и лекарства уже не облегчали положения больного. 24-го февраля он пишет одному знакомому: “Я болен другой месяц: не только на улицу, меня и в коридор не пускают. И не знаю, чем кончится мое затворничество”. 25-го февраля, в день своих именин, он не мог уже встать; пришедшие к нему друзья застали его в страшных муках: он сидел на кровати и тяжело дышал. “Вот если бы мне добраться домой, – говорил он, выслушивая поздравления и телеграммы от земляков, – может быть, я и поправился бы”. День прошел крайне беспокойно: больной не мог найти себе места на кровати; он то оставался один и пробовал заснуть, то звал кого-нибудь из приятелей или доктора. Ночь – также; боль в груди не позволяла ему лечь, и он просидел все время на кровати, упершись в нее руками. Наконец на следующий день, 26 февраля в пять часов утра, он выпил стакан чаю и спустился вниз, в свою мастерскую; но здесь с ним

сделалось дурно, и он упал. Через полчаса не стало Тараса Григорьевича Шевченко. Не стало человека, но вместо него остался на долгие времена “Кобзарь”, трогательными и пламенными песнями которого будут зачитываться люди до тех пор, пока будет существовать малорусский или вообще русский язык...

Прах Шевченко похоронили сначала на Смоленском кладбище в Петербурге, а потом перевезли в гробу, покрытом по казацкому обычаю червонной (красной) китайкой, на Украину, исполняя волю умершего, выраженную в известном стихотворении:

Як умру, то поховайте  
Мене на могилі  
Серед степу широкого  
На Вкраїні милій:  
Щоб лани широкополі  
І Дніпро, і кручі  
Були видні, було чути  
Як реве ревучий.

И теперь всякий проезжающий по Днепру и даже ничего не слышавший о Шевченко невольно обращает внимание на одинокий крест, подымающийся к небу над высоким обрывистым берегом недалеко от Канева. Там, под громадным курганом, напоминающим стародавние могилы, покоится прах народного поэта; а дух его витает “серед степу широкого, на Вкраїні милій”.

## ГЛАВА V. ШЕВЧЕНКО КАК ПОЭТ И ХУДОЖНИК

*Мнения некоторых писателей. – Что такое великий народный поэт? – Содержание поэзии Шевченко. – Отношение народа к его личности. – Шевченко как художник*

Более трех десятилетий прошло уже со времени смерти Шевченко, а наша литературная критика все еще не оценила и не может оценить в полном объеме художественные произведения этого своеобразного, самобытного таланта и дело, совершенное им. Тем менее, конечно, читатель вправе ожидать такой оценки в настоящей биографии. Мы приведем мнения некоторых компетентных лиц и ограничимся самыми общими замечаниями.

“Шевченко, – говорит Добролюбов, – поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдалается от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни.

Он вышел из народа, жил с народом и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан. Был он и в кругу образованного общества, малорусского и великорусского, но долгое время встречал в нем лишь отталкивающую презрительную грубость, притеснения, насилия, несправедливость, и зато, при первых же лучах нравственного свободного сознания, тем сильнее устремился он душою к своей бедной родине, припоминая ее сказания, повторяя ее песни, представляя себе ее жизнь и природу...” Еще определеннее и резче выражается Костомаров. “Шевченко, – говорит он, – как поэт – это был сам народ, продолжавший свое поэтическое творчество. Песня Шевченко была сама по себе народная песня, только новая – такая песня, какую мог бы запеть теперь целый народ, какая должна была вылиться из народной души в продолжение народной современной истории. С этой стороны Шевченко был избранником народа в прямом значении этого слова... Шевченко сказал то, что каждый народный человек сказал бы, если бы его народное существо могло возвыситься до способности выразить то, что хранилось на дне его души... Шевченко говорит так, как народ еще и не говорил, но как

он готов был уже заговорить и только ожидал, чтобы из среды его нашелся творец, который бы овладел его языком и его тоном; и вслед за таким творцом точно так заговорит и весь народ и скажет единогласно: это – мое; и будет повторять долго, долго, пока не явится потребность нового видоизменения его поэтического творчества. Поэзия Шевченко есть непосредственное продолжение народной поэзии...”

Шевченко действительно настоящий и типичный *народный* поэт в общеупотребительном смысле этого слова. Но в том-то и горе, что этот общеупотребительный смысл, не так давно еще вполне ясный и точный, в настоящее время много потерял в своей определенности. Раньше понятие “народ” (в противоположность вообще культурным классам) как бы объединяло, придавая конкретную форму, такие, казалось бы, метафизические концепции, как справедливость, свобода, равенство и так далее. Но ближайшее изучение обнаружило, что народ в этом отношении вовсе не представляет однородной среды, что здесь наблюдается не меньшее разнообразие самых противоположных стремлений и инстинктов, даже целых мирозерцаний, чем в так называемых культурных классах. Поэтому сказать, что народный поэт сохраняет связь с мирозерцанием и идеалами народа, из среды которого он вышел, это значит говорить общие места; ибо у человека, вовсе не знакомого с рассматриваемым поэтом, неизбежно возникает вопрос, с какими же именно идеалами он связан и может ли вообще истинный поэт не сохранять связи со своим народом?...

Ныне, как известно, самые ретроградные планы строятся на народных идеалах, и нельзя сказать, чтобы это были одни только мыльные пузыри. Но наряду с анализом, разложившим понятие, недавно еще служившее девизом целого вполне определенного общественного течения, следует отметить и начинающий складываться синтез. Мы начинаем убеждаться, что противопоставление народа и интеллигенции по всем существенным пунктам не выдерживает критики, а практически не сулит ничего доброго, и по мере роста этого убеждения все больше и больше останавливаемся на том, что объединяет, а не разъединяет эти два общественных слоя, таким образом мало-помалу приближаясь к действительному *народному* самопознанию в том смысле, как это понятие употребляется в Западной Европе, где с наибольшей силой выявляется, между прочим, в творчестве Шекспира – у англичан, Гёте – у немцев, Данте – у итальянцев, и так далее. Таким образом, мы как бы возвращаемся к понятию о народе как нации, но с тем громадным различием, что вносим в это понятие богатейшее содержание, добытое изучением рабочих слоев общества. Мы почти все теперь соглашаемся, что Пушкин – наш народный поэт; в том же смысле

европейская печать единогласно считает Толстого народным русским писателем и ставит его в один ряд с перворазрядными гениями. Оба они рисуют доподлинно истинными и неизгладимыми чертами внутреннюю душу и внешний быт русского общества, как оно окончательно сложилось на основе крепостного права, показывают, каким образом общечеловеческие характеры видоизменялись, развивались, приобретали свои отличительные особенности в этой именно общественной атмосфере. Онегин, Татьяна, Пьер Безухов, Анна Каренина, Вронский, Левин, Каратаев – все это типы, выросшие на почве крепостного права. И писатель, подобный двум вышеназванным, становится всегда в ряду перворазрядных гениев всего человечества, так как он воплощает в своих произведениях целую закончившуюся, уже сказавшую свое последнее слово историческую эпоху известного народа. Его устами говорит действительно весь народ; он и есть истинно великий народный поэт. Можем ли мы назвать в этом смысле Шевченко великим поэтом?

В истории Малороссии, вообще бедной событиями, есть одна в высшей степени замечательная героическая страница. Это – эпоха борьбы за казацкое равноправие против шляхетских привилегий, за свободу и самостоятельность, за веру. Если бы в истории Малороссии не было этой страницы, то, можно сказать, не было бы и самой истории. Существует прекрасная песня (сложенная в позднейшее время) о бедной чайке, которая вывела своих детей при большой проезжей дороге; всякий, кому только не лень, обижают ее птенцов. Эта чайка и есть Малороссия. В течение целых веков детям ее приходилось терпеть нашествия разных народов, отражать их или искать спасения в бегах. Но когда дело коснулось самого существования, когда перед нею был поставлен роковой вопрос: быть или не быть, – она восстала как один человек. Эта кровавая борьба представляет целую эпопею, запечатленную геройскими подвигами. Народ воспел ее в своих многочисленных песнях; но не нашлось еще такого певца, который охватил бы ее во всей полноте и создал бы на ее основе цельное и величественное произведение. Шевченко был близок к этому, и по силе его дарования можно думать, что он достиг бы этого, если бы не его злополучная судьба, державшая поэта до двадцати четырех лет в тисках крепостничества, а затем игравшая человеком, точно мячиком, перекидывая его из брюлловского кабинета к “мочемордам”, а оттуда в ряды подневольных солдат, в далекий пустынный край, и так далее.

Мы не говорим уже о том, что ему приходилось также бороться и за кусок хлеба. Такие условия обыкновенно убивают менее стойкие дарования, но могучему таланту Шевченко они помешали только подняться

на ту высоту, с которой он мог бы обозреть судьбы своего народа и нарисовать цельную картину его героической борьбы. В его стихах раскрывается *музыка слова*, что составляет отличительную особенность всякого великого поэта. Поэтому-то даже не говорящие по-малорусски с удовольствием слушают и читают произведения Шевченко, так как всякий, не понимая вполне их внутренней мелодии, чувствует внешнюю мелодию слов. Поэтому же многие из его стихотворений теперь чаще поются, чем читаются. Таким образом, мы признаем, что Шевченко располагал всеми данными, чтобы стать великим народным поэтом и сравняться с передовыми гениями человечества; но он не совершил всего, что мог совершить, и не совершил потому, что люди поставили его в невозможные условия.

“Вообще, – говорит вышеназванный критик, – спокойная грусть, не похожая ни на бесплодную тоску наших романических героев, ни на горькое отчаяние, заливаемое часто разгулом, но, тем не менее, тяжелая, сжимающая сердце, составляет постоянный элемент стихотворений Шевченко. Как вообще в малороссийской поэзии, грусть эта имеет созерцательный характер, переходит часто в вопрос, в думу. Но это не рефлексия, это движение не головное, а прямо выливающееся из сердца. Оттого оно не охлаждает теплоты чувства, не ослабляет его, а только делает его сознательнее, яснее, – и оттого, конечно, еще тяжелее”. Таким образом, глубокое сердечное чувство, проникнутое грустью и только изредка юмором, составляет основной материал, из которого поэт возводил все свои произведения, стихию, которая его постоянно питала. И в этом отношении он был кость от кости и плоть от плоти своего народа. Любопытно, что в произведениях Шевченко, написанных по-малорусски, это чувство, несмотря на всю свою силу, никогда не выходит из своих границ, никогда не затопляет мысли и не сглаживает архитектурных очертаний самого произведения; тогда как в повестях, написанных на общелитературном языке, оно поглощает как мысль, так и архитектуру, теряет свои естественные берега и переходит в сентиментальность.

Мы не думаем, чтобы характеристика и группировка произведений Шевченко по шаблонам, выработанным схоластической словесностью, представляла для читателя какой-либо интерес. Поэтому, оставляя этот вопрос в стороне, укажем лишь в общих чертах на содержание его поэзии. “Она, – как замечает цитированный уже критик, – содержит все элементы украинской народной песни” и является как по форме, так и по содержанию прямым продолжением последней. Уже одно это показывает, какой великой силой должен был обладать поэт, ибо невероятно трудно



стать со своим индивидуальным трудом вровень с коллективным народным творчеством.

Происхождение Шевченко из бедной крестьянской семьи, годы, проведенные в положении крепостного, никогда не прерывающиеся связи его с родной средой, наконец, вообще положение народа, из которого он вышел, – все это определяет в существеннейших чертах и содержание его поэзии.

Крестьянский мир в прошлом и настоящем составляет центр, главный пункт ее, затем, в более позднее время, когда личные испытания еще более расширили его умственный горизонт, присоединяются некоторые новые наслоения. Таким образом, общие бытовые картины, крепостная неволя, исторические судьбы народа, затем личная неволя со всей ее тоской и темы религиозные и политические – вот существеннейшие рубрики, между которыми распределяется все содержание поэзии Шевченко. Мы не выделяем отдельно природы. Хотя поэт относится к ней всегда с теплой любовью и у него немало встречается прекрасных строф, посвященных описанию степей, Днепра и так далее, но он говорит о природе обыкновенно в связи с другими явлениями. Итак, вся поэзия его проникнута социальным духом.

Сначала он отзывается на явления самого общего характера; он сочувствует всякому горю и страданию. Любящая “дивчина” тоскует по казаку, пропавшему без вести; злая и развратная мачеха в порыве ревности губит свою прекрасную падчерицу; девушка любит своего Петруся, а мать насильно хочет выдать ее за богатого; бесталанная сирота тоскует и не знает, с кем ему разделить свое горе; девушка посадила на могиле своего жениха калину и ходит плакать туда, пока не умирает, и так далее, – все это темы для общих бытовых картин, в которых поэт рисует радость и горе, не осложненные еще разными общественными противоречиями. Но в таких, например, произведениях, как “Хустына”, “Русалка”, те же радость и горе рисуются уже на фоне социальных неправд и привилегий. В “Хустыне” девушка поджидает своего возлюбленного чумака из дальнего путешествия, но ему не повезло: его молодую силу *богачи купили*; “*може и дивчину без мене, – тоскует он, – з иншим одружылы*”, и умирает в пути. В известном всякому читающему украинцу прекрасном стихотворении “Катерина” перед нами печальная картина любви девушки к “москалю”. “*Кохайтеся ж, чернобрывы, та не з москалями, – говорит поэт, – бо москали, чужи люде, сміються над вами!*” В “Русалке” на сцене уже крепачка и ее незаконный плод от пана. Эта тема занимает особенно видное место в произведениях поэта; разрабатывая ее все шире и шире, он

выступает непримиримым и страстным обличителем крепостничества. Близка по духу этим стихотворениям и большая часть повестей, написанных на русском языке. В свое время, когда они могли иметь значение, они не были напечатаны, как и малорусские произведения поэта, затрагивающие крепостной быт; теперь же они кажутся нам чересчур растянутыми, сентиментальными и потому производят слабое впечатление. Впрочем, по справедливому мнению г-на Пыпина, едва ли мы вправе прилагать к этим произведениям обычные требования критики. “Это не столько повести, – говорит он, – сколько наброски личных воспоминаний, портретов виданных лиц, картинок любезного ему малороссийского быта и пейзажа, и с этой точки зрения мы найдем здесь много интересного и симпатичного и много для изучения самой личности поэта”.

Относительно же всех вообще произведений Шевченко, направленных против крепостного права, наш известный историк по крестьянскому вопросу делает следующее заключение: “Таким образом, и в стихах, и в прозе Шевченко не уставал бичевать ненавистное для него крепостное право; он затронул, как мы видим, все стороны жизни крепостных: и угнетение крестьян тяжелыми поборами и повинностями, и страдания во время неурожая без помощи помещика, и торговлю людьми, и проигрывание их в карты, и насилия над девушками и женщинами, и печальное положение крепостного, получившего образование. Поэт не ограничивался неприкрашенным изображением этой горемычной жизни угнетенного народа; он вместе с тем в прочувствованных стихах убеждал панов, что необходимо добровольно улучшить положение крестьян (иначе дело может кончиться худо), что высшее сословие должно слиться с народом. Сравнивая эти неустанные обличения крепостного права с тем, что мы находим за те же самые годы (1845–1855) в произведениях Некрасова, мы должны отдать преимущество украинскому поэту и по количеству и по качеству произведений, затрагивающих крестьянский вопрос... Нельзя не пожалеть, что ни одно из указанных произведений не было напечатано в свое время, но несомненно, что, по крайней мере, те, которые были написаны до ссылки, тогда же расходились по Малороссии во множестве списков”.

Переходя от печального настоящего к прошлым судьбам своего народа, поэт останавливается на той блестящей эпохе, когда народ, вступив в борьбу за свое существование с чуждыми ему элементами, искал равной для всех *правды*. В многочисленных стихотворениях он рисует отдельные эпизоды этой борьбы, а в большой поэме “Гайдамаки” – целое движение, известное в истории под тем же именем. В этих произведениях находят

себе выражения заветные убеждения самого поэта, заклятого врага всякого насилия человека над человеком, хотя бы и облеченного в форму права. Недостаток исторических сведений пополняло поэтическое чутье, так что, несмотря на отдельные ошибки и неточности, историческая поэма, думы и песни Шевченко по духу своему и по внутренней правде вполне соответствуют действительности. Относительно поэмы “Гайдамаки” профессор Антонович говорит, что поэт прекрасно понял положение “трех групп населения в то время и обрисовал отношения крестьян к дворянству и евреям, отношения шляхты к схизматикам и евреям и вывел тип еврея в его отношении к казаку и шляхте. Дворянство представлено в поэме всемогущим сословием, не умеющим полагать ограничения своей власти, своевольным, не уважающим личности. Мы видим толпу конфедератов, лоящих еврея, издевающихся над ним, вламывающихся в дом почтенного человека, титаря,<sup>[22]</sup> с корыстной целью замучивающих его. Дворяне изображены не уважающими человеческой личности, не допускающими ни малейшего отступления от раз принятой политической системы. Вторую группу составляют евреи. Они кланяются шляхте, но презирают ее с полной уверенностью, что они умнее. Имеем в поэме и крестьянские типы, типы людей, лишенных просвещения, но чувствующих свою правоту, долгое угнетение которых довело до ожесточения, прорывающегося бесчеловечной ненавистью. Крестьянский тип лучше всего оттенен автором как родной, на стороне которого была поправная правда. Наряду с типами Железняк и Гонты, обнаруживающего крайнее самопожертвование в сцене убиения сыновей ради общего блага, ложно, впрочем, понятого, встречаем более глубокие образы, например образ благочинного, освящающего народную правду сознательным словом...”

Блеск достославной эпохи казачества не ослепил, однако, Шевченко; она не превратилась для него в своего рода идол и фетиш, как это и по сей час еще встречается. Глубокая любовь к людям и поэтическая пронизательность открыли ему, почти помимо каких бы то ни было исторических исследований, что как ни славно прошлое, однако не в нем следует искать идеал. Идеал лежит впереди, а не позади. Пусть прошлое питает наше героическое чувство и раскрывает нам истинный дух народа; но мы должны отрешиться от его роковых заблуждений. Если ляхи были смертельными врагами свободолюбивого казачества, то виноват ли в том польский народ вообще? Нет, отвечает поэт, это пришли *ксендзы и магнаты* и именем Христовым предали пламени наш тихий рай, разъединили и вооружили нас, братьев, друг против друга. С другой стороны, обращаясь к родному казачеству, он и здесь далеко не все считает

прекрасным; он и здесь находит виновников; это – “старшина”, “гетьманы, усобники, ляхи поганы, недоумки”, которые “без ножа и аутодафе людей закували та и мордуют”... Таким образом, поэт вплотную подходит к широким общечеловеческим идеалам, составляющим в настоящее время достояние всего передового человечества. Этим же духом проникнуты и все его остальные произведения, написанные во время ссылки и по возвращении.

Как поэт Шевченко до сих пор остается во главе малороссийской литературы, которая продолжает развиваться и в нашем отечестве, и в Галиции под сильным влиянием его творческого гения. Затем, он оказал более или менее заметное влияние на разные родственные славянские литературы: так, в польской он содействовал своим демократизмом образованию партии поляков-хлопоманов, в общерусской выступил самым передовым борцом своего времени за поработенный крепостничеством народ, и так далее. Произведения его переведены на болгарский, сербский, чешский, польский, общерусский языки и, кроме того, еще на некоторые славянские. Один из славянофильских критиков провозглашает его даже “первым великим поэтом новой великой литературы славянского мира”.

До сих пор сделано очень немного для распространения поэзии Шевченко среди нашего народа; только немногие из его произведений имеются в дешевых народных изданиях, распродаваемых, кстати сказать, довольно бойко даже на сельских ярмарках. Нет поэтому ничего невероятного в том, что вокруг имени поэта, по крайней мере, в местностях, ближайших к месту его рождения, народ по своему стародавнему обыкновению начинает создавать разные легендарные сказания. Его представляют в образе великого воина, героя наподобие Морозенко, Нечая, Палия и других. “Подводя итог всему тому, что мне приходилось о нем слышать, – говорит один наблюдатель, – я видел, что он представляется народным героем, стоящим за родной ему “сермяжный люд”; он протестует против угнетенного и бедственного положения крестьян и ратует за их волю”.

Мы имели уже случай несколько раз указывать на то, что наряду с поэзией Шевченко занимался и живописью; на нее он смотрел даже как на свою будущую профессию, на свой насущный хлеб. Действительно, призвание художника дважды вызволяло его из самых безвыходных положений; но этим, можно сказать, и ограничивается его значение в жизни поэта: хлеба, даже насущного, оно не обеспечивало ему, и тем менее мы можем говорить о его картинах как о замечательных произведениях искусства. “Из его семи гравюр, – говорит художник Микешин, – можно

заклучить о замечательном даровании и можно смело сказать, что если бы судьба не сыграла с ним столь злой шутки и если бы он мирно шел по дороге совершенствования в художествах, то из него выработался бы замечательный реалист, как по пейзажу, так и по жанру”. Мы не станем, однако, сетовать вместе с художником Микешиним на “злую шутку” судьбы; она своими путями, правда тернистыми и многострадальными, вела Шевченко к неизмеримо более высокой цели. И кто же скажет, что она зло обманывала юношу, когда впервые нашептывала ему в холодной Северной Пальмире чудные мелодии про знойные степи, широкий и могучий Днепр, “казацкие могилы”, когда она от художественных образов на полотне увлекала его к еще гораздо более художественным и возвышенным образам человеческой речи?... Нет, она не шутила с ним и не обманула его. Она подняла крепостного на высоту, которой никто не достигал ни раньше, ни позже из следовавших по тому же пути. А что на его долю выпали тяжелые испытания – от этого не избавлена ни одна истинно отважная, геройская душа.

---

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Дымарь – печная труба, плетневая, камышевая, обмазанная глиною  
(Словарь В. Даля).

Кобзарь – бандурист, скоморох, играющий на кобзе нищий, слепец, поющий думы, былины Украины (Словарь В. Даля).



Рига, молотильный сарай (*Словарь В. Даля*).

4

Огороженный или окопанный луг или пастбище; покос; огород  
(Словарь В. Даля).

Царина – околица с заворами (запорами. – *Ред.*), городъба и ворта от скота (*Словарь В. Даля*).

Перелаз – место в плетне, заборе, где перелазят, для чего иногда приделаны примостки (*Словарь В. Даля*).

Пукалка – детская игрушка, ружьё, перышко или трубочка с поршнем, которая хлопает, стреляя репяною, картофельною пробкою (*Словарь В. Даля*).

Свитка – широкая, долгая запашная одежда без перехвата (*Словарь В.Даля*).

Гравированными картинками.

Крепостной человек (*Словарь В. Даля*).



Четверть целого листа (*Словарь В. Даля*).

Впрочем, сам Шевченко, по словам Костомарова, отрицал этот анекдотический рассказ.

Москаль – москвич, русский (Словарь В. Даля).

Пьяница, охотник до хмельного (*Словарь В. Даля*).

Легкое пиво, брага (*Словарь В. Даля*).

“Колиивщина” (от укр. слова “колій” – повстанец) – крестьянско-казацкое восстание на Правобережной Украине в 1768 году против феодально-крепостнического и националистического гнета шляхетской Польши (*Энциклопедический словарь*).

При обыске, произведенном у Шевченко в Оренбурге, о котором мы скажем в своем месте, было найдено несколько писем княжны.

Челн, лодка, струг однодеревка, долбушка (*Словарь В. Даля*).



*Зирка, зиронъка – звездочка на небе (Словарь В. Даля).*

На беседу.

И ему подобных (*ит.*).

Церковного старосты (*Словарь В. Даля*).